



Андрей Киллер

Альманах ужаса:

Славянские мифы

<https://litres.ru/73990503>

SelfPub; 2026

Аннотация

В поле не оглядывайся. В бане не засиживайся. Дома — не отвечай на голос из пустой комнаты.

Мы привыкли считать их сказками для детей, но у старых преданий острые зубы и долгая память. Это не добрые мультики про домовых, это изнанка нашего мира, где правила выживания написаны кровью тех, кто их нарушил.

В этой книге собраны истории о существах, которые веками жили рядом с нами в полях, лесах и заброшенных избах. Они не ищут понимания. Они ищут тех, кто забыл, как от них защищаться».

Андрей Киллер

Альманах ужаса:

Славянские мифы

Овинник: Золотой пепел

Деревня называлась Глухой Лог. На картах её не было уже лет десять, но люди там ещё жили. Семь дворов, если считать тот, где крыша провалилась. Дорога туда летом — колея в грязи, зимой — снег по пояс. Ближайший райцентр в тридцати километрах, автобус ходил раз в неделю, но давно перестал, потому что пассажиров не набиралось.

Андрей приехал в июле. Сорок два года, бывший водитель фуры, пока не вылетел с рейса после того, как уснул за рулём. Ни жены, ни детей. В городе у него была комната в общежитии, которую он сдавал чужим людям, а сам ночевал в машине. Потом и машину продал. Дядя Миша, двоюродный, давно звал помочь по хозяйству — руки нужны были, а платить обещал не много, но кормить досыта. Дядя Миша жил в Глухом Логу один. Жена его ушла ещё в девяностые, сын уехал в город и не приезжал.

Андрей согласился, потому что деваться было некуда.

Добрался на попутке до Шапкова, потом пешком четырнадцать километров по просёлку. День был жаркий, пыль

стояла столбом, от комаров спастись нечем — потел, размазывал по лицу грязь. За плечами рюкзак с тремя футболками, штанами, зажигалкой и пачкой дешёвых сигарет.

Вошёл в деревню к вечеру. Солнце висело низко, красное, как варёная свёкла. Дома — почерневшие брёвна, крыши из шифера, кое-где уже просели. Заборы покосились. Тишина — не как в городе, где шум стоит постоянно, а такая плотная, будто ватой уши заложило. Где-то вдалеке скрипело — то ли колодец, то ли ветряк.

Дядя Миша встретил на крыльце. Мужик под семьдесят, сухой, с обожжённой солнцем шеей, глаза маленькие, светлые, внимательные. Руки — одни жилы и кости. Запах от него шёл крепкий — махорка, старый пот, овчина.

— Пришёл, — сказал дядя Миша без удивления. — Заходи. Есть будешь?

Ужинали в избе. Картошка тушёная, хлеб, лук зелёный. Сало солёное, но старое, желтоватое. Пили чай из железных кружек — заварка тёмная, горьковатая. Дядя Миша говорил мало. Спросил, как доехал, потом замолчал. Смотрел в окно, хотя за окном было уже темно.

— Ты завтра овин посмотришь, — сказал он наконец. — Подремонтировать надо. А то скоро озимую сушить, а там подпорки гнилые.

Андрей спросил, что за овин. Дядя Миша усмехнулся, показал жёлтые редкие зубы.

— Рига. Сушка для снопов. В старину каждый хозяин

свой имел. У меня дедовский, ещё крепкий. Топка там, решётки. Надо бока подлатать да крышу промазать.

— В наше время никто не сушит так, — сказал Андрей.

— Комбайны ж с пола выходят, сушилки...

— А здесь нет комбайнов, — перебил дядя Миша. —

Здесь лошадь одна на три двора и косы. Забыли? Ты помогать приехал или учить?

Андрей замолчал. Выкурил сигарету на крыльце, глядя на звёзды. Их было много — не как в городе, а целое полотно, от края до края. Месяца не было, только звёзды и чернота. Где-то за огородами ухал филин. Размеренно, тяжело.

Спать лёг на полати. Дядя Миша храпел в горнице. В избе пахло печью, сухими травами и ещё чем-то кисловатым, непонятным. Андрей долго ворочался, слушал, как скребуются мыши под полом. Уснул под утро.

Проснулся от крика.

Кричали петухи, но не как обычно — весело, на рассвете, а надрывно, как будто их резали. Андрей сел, протёр глаза. За окном было серо, часов пять утра. Дядя Миша уже встал, чай пил за столом.

— Не обращай внимания, — сказал он, не оборачиваясь.

— Птица глупая.

Андрей оделся, вышел на двор. Утро было свежее, роса по траве, но быстро прогрелось. За сараем увидел овин — рубленый сруб, крытый тёсом, с низкой дверью. Стоял он на отшибе, ближе к полю, метрах в ста от дома. Вокруг него

земля была вытоптана, трава не росла — не то от тени, не то от чего другого. Из-под крыши торчали гнилые доски. Дверь была приоткрыта, и изнутри тянуло холодом, хотя снаружи уже набиралось тепло.

Дядя Миша подошёл сзади, хлопнул по плечу.

— Полежай. Посмотри, какие лаги целы. Да без спичек там, понял? Солома старая, тлеет с одной искры.

Андрей хмыкнул. Нагнулся, вошёл.

Внутри было темно и сыро. Свет пробивался сквозь щели в стенах — полосы, в которых плясали пылинки. Посередине шла глинобитная печь, низкая, с широким подом. Над ней — решётки из ржавого железа, на них клали снопы. Вдоль стен — лаги, толстые брёвна, частью подгнившие. Пол земляной, утрамбованный, но местами взбухший, как будто снизу поднималась вода.

Запах стоял особенный — сухой, но с привкусом горелого. И ещё один, тоньше: животный, тёплый, будто здесь кто-то жил, спал, дышал. Андрей огляделся. Мышей не было видно. Ничего не было. Только тишина, слишком плотная для такого строения.

Он нашёл три подгнивших лаги, постучал по ним — внутри гниль, труха. Надо менять. Записал на обрывке газеты. Уже собрался выходить, и тут заметил в дальнем углу, за печкой, что-то тёмное. Похоже на свёрток из мешковины, но старый, ветхий. Андрей протянул руку, дотронулся — ткань рассыпалась под пальцами. Под ней оказалась кость.

Небольшая, птичья. Чья — не разобрать.

Он бросил, вытер руки о штаны. Вышел на свет, зажмурился.

Дядя Миша стоял у крыльца, курил.

— Ну что?

— Три лаги менять. И крышу бы, но это потом.

— Понял. — Старик помолчал. — Внутри ничего не трогал?

— Что там трогать. Кости какие-то.

Дядя Миша бросил сигарету, затоптал ногой. Лицо его стало каменным.

— Кости? Где?

— За печкой. Старые, птичьи. Сгнили уже.

— Это он.

— Кто — он? — Андрей не понял.

— Овинник, — сказал дядя Миша тихо. — Дух. Хозяйин сушила. Ему положено подношение. Птицу там, или хлеб с солью. Отец мой клал, и дед. А я забыл в позапрошлом году. Замотался.

Андрей подумал, что дядя Миша спятил от старости. Посмотрел на него внимательно — глаза ясные, руки не трясутся. Пьёт? Не похоже. Вчера только чай, сегодня тоже чай.

— Ладно, — сказал Андрей, чтобы не спорить. — Я доски поищу, вон у сарая есть.

Он ушёл к поленнице, вытащил несколько досок. Работал до обеда, пилил, прилаживал новые лаги. В овин захо-

дил несколько раз — носил инструмент, примеривал. Каждый раз внутри было холодно, даже в полдень. И каждый раз он чувствовал этот тёплый животный запах, хотя внутри не было ни зверя, ни помёта.

К вечеру дядя Миша велел сходить в овин и положить на под печи кусок хлеба, посыпанный солью.

— Сам неси, — сказал. — Ты теперь тут новый человек. Он тебя должен принять.

— Да ну, — сказал Андрей. — Что за глупости.

— Делай, что говорят. Жить захочешь.

Андрей не хотел спорить. Отломил краюху, насыпал соли в спичечный коробок. Пошёл.

Солнце уже садилось, длинные тени легли на землю. Овин стоял чёрный на фоне заката. Дверь была прикрыта, но не заперта. Андрей толкнул её плечом, вошёл.

Внутри было темнее, чем снаружи. Он вытащил зажигалку — чиркнул, огонь осветил стены. Печь зияла чёрным жерлом. Андрей положил хлеб на под, сверху насыпал соли. Хотел уже выйти, но зажигалка погасла — от ветра или от сырости. На секунду наступила полная темнота.

И в этой темноте он услышал дыхание.

Ровное, размеренное. Чужое.

Кто-то дышал у него за спиной.

Андрей обернулся, снова чиркнул зажигалкой. Никого. Только стены, земляной пол, решётки. Но дыхание не прекратилось — оно шло из угла, из того самого, где он утром

нашёл кости.

Он вышел быстро, почти побежал. Захлопнул дверь. Руки дрожали, но не от страха — от холода. Хотя снаружи было жарко, даже душно.

Дядя Миша ждал у калитки.

— Положил?

— Да.

— Не оглядывался там?

Андрей промолчал.

— Ладно, — сказал старик. — Завтра примемся за крышу. Сейчас ужинать.

Ночью Андрей не спал. Лежал на полатах, смотрел в потолок. За стеной дядя Миша храпел. Мыши под полом возились. Где-то на улице скрипел флюгер. Но Андрею казалось, что он слышит другое — тот самый звук, которого не было в природе. Не то шепот, не то шелест. Тихий, ровный, как угли, которые тлеют под пеплом.

Он решил, что накрутил себя. Спирта попросить у дяди Миши? Неудобно. Лучше терпеть.

Повернулся на бок, закрыл глаза. И тут почувствовал — холод. Не сквозняк из щелей, а что-то другое. Он шёл от двери. Тянулся по полу, как туман, добирался до полатей, поднимался выше.

Андрей открыл глаза. В избе было темно, но он видел — дверь приоткрыта. Он же закрывал её, точно закрывал. Задвижку задвигал.

С полатей свесил ногу. Пол холодный, босиком ступить — как на лёд. Встал, пошёл к двери. Шагов не слышно — босые пятки ступают тихо. Взялся за край двери, потянул на себя. Задвижка стояла на месте — металлическая щеколда. Её невозможно открыть снаружи.

Андрей выглянул во двор. Месяц ещё не взошёл, но звёзды светили ярко. Овин чернел на своём месте. И у его двери, прижавшись к ней спиной, стояла фигура.

Низкая, коренастая. Мужчина, или не мужчина — в чём-то тёмном, лохматом. Лица не разобрать, только два глаза — не светятся, но видно, как они смотрят. Прямо на Андрея.

Андрей замер. Не дышал.

Фигура медленно отлипла от двери и пошла в сторону леса. Не оглядываясь. Шаг тяжёлый, но беззвучный. Скрылась за кустами черёмухи.

Андрей постоял, закрыл дверь, задвинул задвижку. Вернулся на полати. Лёг. Долго смотрел в потолок, потом сжал кулак так, что ногти впились в ладонь. Боль привела в чувство.

— Нет, — сказал он себе шёпотом. — Не поеду. Я работаю. Мне заплатят.

Задремал уже под утро, когда петухи заорали — снова не своим голосом, как будто их душили.

Утром за завтраком дядя Миша спросил:

— Не выходил ночью?

— Нет, — соврал Андрей.

— А дверь у меня открыта была. Я не открывал.

— Ветра нет, сам не откроется. Может, мыши?

— Мыши не открывают, — сказал дядя Миша. Он помешивал чай в кружке, смотрел на тёмную заварку. — Он приходил. Посмотреть. Ты ему понравился — не задушил во сне.

Андрей отставил кружку.

— Хватит. Я не суеверный.

— А я и не про суеверия, — дядя Миша поднял глаза. — Я про дело. Мы с ним живём. Ты хочешь жить — считайся. Завтра пойдём зерно молотить. А сегодня крышу подбей, пока жара.

Андрей встал, взял молоток, гвозди. Пошёл к овину. Солнце уже поднялось, жгло в спину. Подошёл к двери — помедлил. Прислушался. Внутри тихо.

Открыл дверь. Хлеб, который он положил вчера на под печи, исчез. Соли не было — только белое пятно на глине.

На полу у печи — свежий след. Не от сапога, не от лаптя. Босой ступни. Но шире человеческой, и пальцы длинные, все разом, как у зверя.

Андрей посмотрел на след, потом на свои руки. Потом вышел, сел на траву, закурил.

Курить хотелось до рези в груди. Он докурил до фильтра, затушил, выбросил.

Взял молоток.

Пошёл чинить крышу.

Крышу чинил два дня. Солнце пекло так, что железо нагревалось — рука не держалась. Андрей работал в перчатках, но пот заливал глаза, соль щипала. Гвозди гнулись от жары. Он матерился тихо, сбивал их заново.

Дядя Миша помогал снизу — подавал доски, инструмент. Молчал. Только когда Андрей слезал, старик кивал и говорил: «Ладно». Один раз спросил:

— Видел чего в овине?

— След видел, — ответил Андрей, не оборачиваясь. — На полу. Босой.

— А ты не смотри на пол. Ты на печь смотри. Если там зола разбросана — это он недоволен. Если собрана в кучу — терпит.

Андрей сплюнул. Ему не нравился этот разговор, но внутри что-то ёкало. Вечером он зашёл в овин проверить, не осталось ли щелей после работы. Подошёл к печи. Зола лежала ровно, как он и оставил. Ни куч, ни разброса. Только в середине — маленькая ложбинка, будто кто-то провёл пальцем.

Он вышел, закрыл дверь. Задвижку задвинул. Достал сигарету, закурил. В сумерках деревня казалась вымершей — ни огонька, ни голоса. У соседей, через два дома, тлело окно — то ли лампа, то ли свечка. Андрей подумал: надо познакомиться, раз жить тут. Но не пошёл.

На третий день дядя Миша сказал, что пора косить ози-

мью. Рожь поспела, низкая, но плотная. Косили вручную — коса у старика была старая, немецкая, ещё довоенная. Андрей никогда не косил, только видел в фильмах. Дядя Миша показал: стой ровно, не сутулься, коса идёт сама, не руби, а води. Андрей пробовал — выходило криво. Трава мялась, не срезалась. Косил три часа, набил мозоли, спину скрутило. Дядя Миша смотрел, молчал, потом забрал косу.

— Ты снопы вяжи. Это проще.

Вязать снопы Андрей научился быстрее. Руки привыкли за день. К вечеру стояло двадцать копен — жёлтые, колючие, пахнущие пылью и мёдом. Рожь была сухая, ломкая.

— Завтра возить в овин, — сказал дядя Миша. — Сушить будем.

Ночью Андрей спал крепко — от усталости. Снилось поле, жара, и кто-то большой, чёрный идёт по меже, не касаясь колосьев. Проснулся от того, что в избе холодно. Печь давно прогорела. Дядя Миша сидел на лавке, одетый, и смотрел в окно.

— Ты чего не спишь? — спросил Андрей хрипло.

— Он сегодня ходил, — сказал старик. — Вокруг дома.

Следы на россе.

— Откуда знаешь?

— Трава примята. Кругом. Он границу обводил.

Андрей сел. Взглянул в окно — за стеклом было черно, только звёзды. Ничего не разглядеть.

— Что ему надо?

— Жить, — ответил дядя Миша. — Как и всем. Только он здесь главный, понял? Не я, не ты. Мы — приживалы.

Андрей хотел сказать, что это глупости, что нет никаких духов. Но остыл. Сказал только:

— Спи. Завтра работа.

Дядя Миша лёг, но долго ворочался. Андрей тоже не спал. Слушал тишину. И в какой-то момент понял, что тишина не настоящая. Под ней — звук. Очень низкий, почти не слышимый. Будто гудит земля. Или воздух. Или сама изба.

Утром грузили снопы на телегу. Лошадь у дяди Миши была — старая, кличка Ветка, серая, с вытертой холкой. Она не ржала, не била копытом. Стояла смирно, только ушами пряла. Когда подъехали к овину, Ветка упёрлась.

— Но, но, — дядя Миша натянул вожжи. Лошадь не шла. Пятилась. Глаза белые, ноздри раздуты.

— Не хочет, — сказал старик. — Чует.

— Чего чует?

— А то.

Дядя Миша обошёл лошадь, взял под уздцы, потянул. Ветка сделала шаг, второй. Дрожала мелко, но зашла. Андрей скинул снопы на землю, начал подавать в овин. Дядя Миша внутри принимал, укладывал на решётки. Работали молча.

В овине было темно, хоть глаз выколи. Андрей зажёл фонарик на телефоне — света хватало, чтобы видеть снопы и лаги. Дядя Миша велел не включать, сказал: «Он не любит

яркого». Но Андрей не выключил. Работал со светом. Старик кряхтел, но молчал.

Когда загрузили печь доверху, дядя Миша достал кремень — не зажигалку, а настоящий кремень и кресало.

— Зачем это? — спросил Андрей.

— Так надо. Спички и зажигалки — они чужие. Огонь должен быть свой.

Он высек искру. Трут занялся — берёста и сухой мох. Дядя Миша раздул пламя, поднёс к топке. Огонь пошёл по щепе, загудел. Дым поднялся к решёткам, потянул в трубу.

— Теперь жди, — сказал старик. — Часа три. Потом переворошишь. Я пойду, Ветку напою.

Он вышел. Андрей остался в овине один. Огонь в топке гудел ровно, от него шло тепло, но стены оставались холодными. Андрей присел на лагу, достал сигарету. Закурить не успел — дядя Миша запретил курить в овине, из-за соломы. Спрятал пачку обратно.

Сидел, смотрел на огонь. Пламя было живое, лизало кирпичи. В щелях между снопами вился дымок — сладковатый, с горчинкой. Глаза слипались. Жара и духота делали своё.

Андрей задремал.

Проснулся от того, что огонь погас. Не потух, а именно погас — резко, как будто его задули. Топка была тёплой, но угли не светились. Темнота стояла полная, даже фонарик на телефоне не горел — телефон сел, Андрей забыл зарядить.

Он встал, пошёл наощупь к двери. Шаг, второй. Пол зем-

ляной, ровный, но под ногой что-то хрустнуло. Он нагнулся, потрогал — кости. Много костей. Мелкие, крупные, все сухие, ломкие. Пальцы нащупали череп — маленький, птичий, но тяжёлый.

Андрей выпрямился, двинулся дальше. Дверь была там, где и раньше. Он толкнул — не открывается. Дёрнул сильнее — заперто снаружи. Но задвижка была с внутренней стороны. Он сам её задвинул, когда заходил? Нет, не задвигал. Дядя Миша не мог закрыть — он вышел раньше.

— Эй! — крикнул Андрей. Голос прозвучал глухо, как в подушку. — Открой!

Никто не ответил. Только где-то в углу, за печкой, зашуршало. Шорох был не мышиный — тяжёлый, ворочающийся. Будто кто-то большой перевернулся на другой бок.

Андрей упёрся в дверь плечом. Доски скрипнули, но не поддались. Он бил ногой, молотком, который остался с прошлого раза. Молоток глухо стучал по дереву. Снаружи тишина. Деревня молчала. Даже собаки не лаяли.

Тогда он услышал голос. Низкий, дребезжащий, как будто говорили через слой пепла. Слова были не разобрать — ни по-русски, ни на чём другом. Просто звук. Он шёл из угла, из-за печи.

Андрей перестал стучать. Повернулся лицом в темноту. — Кто здесь? — спросил он.

Тишина. Потом шорох приблизился. Пол под ногами задрожал — мелко, как при землетрясении, но землетрясений

в этих краях не бывает. Андрея повело, он упёрся в стену. Стена была тёплой — нагрелась от печи.

И вдруг свет. Не фонарик, не лампа. Тусклое, серое свечение, которое исходило отовсюду сразу. Андрей увидел овин. Увидел снопы на решётках, печь, лаги. И увидел то, что сидело на корточках за печкой.

Существо было ростом с крупную собаку, но сидело как человек. Кожа серая, сморщенная, как у новорождённого крысёныша. На голове — не то шерсть, не то клочья грязной пакли. Глаза маленькие, чёрные, без зрачков, но смотрели прямо. Рот — узкая щель, из которой не шло ни звука. Вместо рук — лапы с длинными пальцами, все одинаковой длины.

Оно держало кость. Грызло. Медленно, с хрустом.

Андрей хотел закричать, но горло перехватило. Он только выдохнул — воздух вышел с сипом. Существо подняло голову, посмотрело на него. Потом бросило кость, поднялось. Встало на задние лапы — выпрямилось, оказалось выше Андрея. Плечи широкие, но впалая грудь, как у голодного пса.

Оно шагнуло. Один шаг. Второй.

Андрей рванул дверь — она открылась. Сразу, без усилий. Он вылетел наружу, упал в траву, вскочил. Побежал к дому. Не оглядывался.

Влетел в избу. Дядя Миша сидел за столом, пил чай.

— Ты чего? — спросил спокойно.

— Там... — Андрей перевёл дыхание. — Там что-то. В

овине. Я видел.

— Видел? — Дядя Миша поставил кружку. — Ну, значит, время пришло. Он себя показал. Это не просто так.

— Ты знал? Ты запер меня?

— Не запираю я. Сам он закрыл. Ему надо было, чтобы ты увидел. — Старик помолчал. — Теперь ты его знаешь. И он тебя знает.

Андрей сжал кулаки.

— Я уеду. Завтра же.

— Поздно, — сказал дядя Миша. — Он тебя отметил. Куда поедешь? В город? Он за тобой пойдёт. Понял? Ты ему нужен.

— Зачем?

— Руки. Мои старые. Он копит силу. А ты молодой.

Андрей выругался матом. Дядя Миша не обиделся. Встал, налил ему чаю.

— Пей. Завтра будем снопы вынимать. И не бойся. Он пока не тронет. Работай, не перечь, и проживёшь.

— А если перечу?

Дядя Миша не ответил. Посмотрел в окно, туда, где чернел овин. Потом перекрестился — широко, истово. Но Андрей заметил: крестился старик не на икону, а на дверь.

На следующий день снопы вынимали. Овин пах жареным зерном, дымом, потом. Андрей работал молча, старался не смотреть за печку. Существо там не показывалось. Только следы остались — на полу свежие отпечатки босых ног, шире

человеческих, с длинными пальцами.

Дядя Миша молотил зерно цепом — старым, ещё дедовским. Андрей ссыпал зерно в мешки. Работали дотемна.

Ночью Андрей не спал. Сидел на крыльце, курил. Смотрел на овин. Окна его были тёмные, но из щелей сочился слабый свет — не огня, а того самого, серого. Андрей знал, что если подойти и заглянуть внутрь, то увидит его. Сидит, грызёт кость. Или смотрит.

Он не подошёл.

Лучше не знать.

Но знал уже.

После того, как Андрей увидел его, дни потекли иначе. Раньше он работал, уставал, спал. Теперь работал, уставал, но не спал. Или спал, но не просыпался по-настоящему. Что-то в нём сломалось, когда он вылетел из овина. Не страх даже — страх прошёл, осталась пустота. Будто кто-то выскреб ложкой изнутри всё, что держало его человеком.

Дядя Миша болел. Сказалось? Просто старость? Андрей не знал. Старик кашлял по ночам, днём сидел на лавке, обхватив колени. Глаза у него стали мутные, как у рыбы. Он почти не выходил из избы. Кормить Ветку ходил Андрей.

Лошадь теперь стояла в конюшне, дрожала. Ела плохо.

— Ты не ходи больше в овин, — сказал дядя Миша однажды утром. — Он тебя видел. Теперь он будет ждать.

— Чего ждать?

— Пока ты сам к нему придёшь. Или я умру. Тогда ты станешь хозяином. А с ним — его рабом.

Андрей слушал и не верил. Но внутри всё сжималось. Он пытался убедить себя, что это бред. Что можно собрать вещи и уйти. Уйти прямо сейчас, пока солнце высоко, пока дорога видна.

Он собрал рюкзак. Две футболки, штаны, зажигалка, полпачки сигарет. Вышел на крыльцо. Дядя Миша смотрел из окна, но не позвал. Андрей пошёл по просёлку. Было утро, роса ещё не сошла. Ноги в кроссовках промокли.

Прошёл полкилометра. Остановился. Впереди дорога шла через поле, потом в лес. За лесом — Шапково, а там попутка. Он смотрел на эту дорогу и понимал, что не уйдёт. Ноги сами не шли. Будто кто-то держал за пояс, тянул назад.

Он выругался, повернул обратно.

Дядя Миша встретил на пороге. Не удивился.

— Не пускает, — сказал старик. — Я говорил.

— Что делать? — спросил Андрей. Впервые он спросил не с издёвкой, не с усмешкой. По-настоящему.

Дядя Миша помолчал. Прошёл в избу, достал с полки старую книгу — молитвослов, пожелтевший, с оторванной обложкой. Полистал, нашёл страницу, ткнул пальцем.

— Читай.

Андрей посмотрел. Текст был церковнославянский, он ничего не понял.

— Ты про что?

— Молитва от нечистого. Читай каждый вечер. И в овин клади хлеб с солью, свежий. Может, уйдёт.

— Может?

— А я не знаю. Раньше наши деды знали. А мы забыли.

Андрей взял книгу. Листы были тонкие, пахли воском и плесенью. Он прочитал молитву вечером, стоя у печи. Читал по слогам, с запинками. Слова не складывались в смысл, но горло саднело, как от горячего чая. Кончил — перекрестился. Сходил в овин, положил хлеб на под печи. Вернулся, лёг спать.

Спал без снов. Впервые за много дней.

Утром дядя Миша не встал. Лежал на кровати, смотрел в потолок. Глаза открыты, но не мигают. Андрей позвал — старик не ответил. Толкнул в плечо — тело тёплое, но живое. Дышал. Только не двигался и не говорил.

Андрей сидел рядом час, другой. Потом пошёл к соседям. Через два дома жила баба Настя, старая, но бодрая. Постучал. Вышла, посмотрела на него, спросила:

— А ты чей?

— Дяди Мишин племянник. Он не встаёт. Не говорит.

Баба Настя перекрестилась. Взяла клюку, пошла с ним. Зашла в избу, посмотрела на старика, потрогала лоб.

— Дух вынули, — сказала тихо. — Овинник. Он его высосал. Теперь ты хозяин. А он так и будет лежать, пока не

умрёт.

— Вылечить можно?

— Нет. И не пытайся. — Она посмотрела на Андрея. — А ты уходи. Пока можешь.

— Не могу. Не пускает.

Баба Настя отвернулась. Долго молчала. Потом сказала:

— Значит, пропал. — И вышла.

Андрей остался один. Кормил Ветку, поил её. Старик лежал, дышал, но не просыпался. На третий день Андрей перестал звать его. Привык.

Он ходил в овин каждое утро, клал хлеб. По вечерам читал молитву. Но что-то менялось. Овин больше не казался

чужим. Запах внутри стал привычным — сухой, тёплый, животный. Андрей перестал бояться темноты. Он работал там, чинил полки, перебирал решётки. И всё чаще ловил себя на том, что говорит вслух. Не с собой. С кем-то, кто слушает из угла.

— Сегодня будет дождь, — говорил он. — Надо снопы убрать.

И снопы убирал. А на следующий день они лежали не так, как он оставил. Переложены. Аккуратно, будто кто-то учился.

Однажды он нашёл на полу новый след. Не босой ступни, а ладони. Пять пальцев, отпечатавшихся в земляном полу. Андрей присел, приложил свою ладонь. След был меньше, пальцы короче. И отпечаток шёл не от руки, а от ноги — существо встало на четвереньки.

Андрей не испугался. Он провёл пальцем по отпечатку, потом встал, вытер руку о штаны.

Вечером он не стал читать молитву. Сел за стол, налил себе самогона — дядя Миша хранил трёхлитровую банку в подполе. Выпил полстакана. Желудок обожгло, тепло разлилось по телу. Он посмотрел на дядьку — тот лежал, открыв рот, дышал еле-еле.

— Ты, главное, не умирай, — сказал Андрей. — Не оставляй меня одного.

Старик не ответил.

Ночью Андрей проснулся от того, что кто-то сидел на краю полатей. Он не открывал глаз, но знал — там. Тяжёлое, тёплое тело. Запах шерсти и золы. Дыхание ровное, негромкое.

Андрей лежал не двигаясь. Сердце колотилось, но страха не было. Было странное спокойствие, как перед смертью, когда уже всё равно.

Существо не трогало. Сидело, смотрело. Потом слезло, прошлёпало босыми ногами к двери. Андрей слышал, как открылась задвижка — сама собой. Скрипнула дверь. Потом тишина.

Он встал, пошёл к овину. Луны не было, но он видел дорогу. Ноги несли сами. Остановился у двери, толкнул. Внутри горел тот серый свет. Существо сидело за печкой, на своём месте. Держало в руке комок глины — мяло его, лепило.

Андрей вошёл. Сел на корточки напротив. Существо подняло голову, посмотрело чёрными глазами. И протянуло ему глину.

Андрей взял. Глина была холодная, сырая. Он начал мять её, как существо. Пальцы привыкали. Глина принимала форму. Получился маленький комок, похожий на голову. Без глаз, без рта.

— Кто ты? — спросил Андрей.

Существо не ответило. Но нагнулось, коснулось его руки. Лапа была горячей, шершавой, как наждак. Андрей не отдёргнул. Сидел, смотрел в чёрные глаза. В них ничего не было — ни злобы, ни ласки. Только ровное, древнее спокойствие.

— Ты теперь хозяин, — сказал он себе.

Существо убрало лапу. Отодвинулось за печку. Свет померк. Андрей остался в темноте один. С глиной в руке.

Вышел. Ноги дрожали, но не от страха. От чего-то другого, чего он не мог назвать.

Утром дядя Миша умер. Андрей нашёл его холодным, с открытыми глазами. Позвал бабу Настю. Она посмотрела, перекрестилась.

— Хоронить надо. За лесом кладбище. Лопата в сарае.

Андрей выкопал могилу один. Земля была твёрдая, с корнями. Копал шесть часов, руки стёр в кровь. Завернул старика в простыню, перетащил на телеге. Закопал. Баба Настя прочитала молитву. Никого больше не было.

Вернувшись в избу, Андрей сел за стол. Посмотрел на пустую кровать дяди Миши. Потом на дверь овина, видную в окно.

— Теперь я тут один, — сказал он в пустоту.

И почувствовал, как за спиной, у печки, что-то зашевелилось. Не обернулся.

Ты прав. Развязка вышла сжатой. Переписываю. Увеличиваю объём, добавляю сцен, деталей, телесности. Никакой воды — только плотное, тягучее разложение.

После того, как Андрей увидел его в сером свете, овин перестал быть просто постройкой. Он стал частью Андрея. Или Андрей стал частью овина. Он не мог объяснить это словами, но чувствовал кожей, нутром, каждой косточкой.

Дядя Миша с каждым днём таял. Не в переносном смысле — буквально. Кожа на его руках стала серой, сухой, собиралась в складки, как на печёном яблоке. Он перестал выходить из избы. Сидел на лавке у печи, укутавшись в тулуп, и трясся. Трясся даже днём, когда солнце заливало окна. Андрей ставил перед ним тарелку с кашей — дядя Миша смотрел на неё, но не ел.

— Ты бы поел, — говорил Андрей. Старик не отвечал.

На третий день после явления Андрей попробовал уйти. Собрал рюкзак, сунул пачку сигарет, зажигалку. Вышел на

дорогу. Был полдень, жара стояла такая, что воздух дрожал над просёлком. Андрей прошёл с километр, вышел к берёзовой роще. Остановился. Закурил. Сигарета горела ровно, дым тянулся вверх.

Он смотрел на дорогу. Дальше был лес, потом Шапково. Попутка. Автобус. Город. Комната, которую он сдавал чужим людям. Ночёвки в машине. Одиночество, привычное, понятное.

Сзади, со стороны деревни, донёсся звук. Низкий, глухой, как удар в пустую бочку. Андрей обернулся. Деревни не было видно за поворотом, но звук пришёл оттуда. Потом ещё один. И ещё. Кто-то бил в рельсу? Но рельс здесь нет. Колокол? Церкви в Глухом Логу не было.

Звук прекратился. Андрей потушил сигарету, шагнул вперёд. И в этот момент ноги перестали слушаться. Не то чтобы он не мог идти — он мог, но каждое движение давалось с трудом, будто шёл по пояс в глине. Воздух стал плотным, липким. Он сделал ещё десять шагов — и понял, что не уйдёт. Не дорога держала. Что-то другое. За спиной.

Он развернулся и пошёл обратно. Легко, свободно. Ноги сами несли. Словно кто-то тянул за верёвку, привязанную к поясу.

Вернулся в избу. Дядя Миша поднял голову, посмотрел мутными глазами.

— Не пускает, — сказал старик. Голос был шёпотом, горло скрипело, как несмазанное колесо. — Теперь никуда. Пока не умрёшь.

— Ты тоже не мог уйти? — спросил Андрей.

— Мог. Раньше. А когда он меня отметил... — дядя Миша замолчал, кашлянул. Кашель был сухой, из пустоты. — Я думал, сын вернётся. Сын не вернулся. Ты приехал.

Андрей сел на лавку напротив. Достал сигарету, закурил прямо в избе. Дядя Миша раньше ругался за это, теперь не сказал ни слова.

— Как его прогнать? — спросил Андрей. — Сжечь овин?

— Не сожжёшь. Он не даст. Огонь его не берёт. Он сам из огня.

— Из какого огня?

— Из того, которым зерно сушат. Он родился в первом овине, на первом огне. Тысячу лет назад. А может, и больше.

Андрей докурил, затушил окурок об подошву. Спрятал бычок в карман — привычка из города, чтобы не мусорить.

— А если я не буду ходить в овин? Перестану класть хлеб?

— Тогда он придёт сюда, — сказал дядя Миша. — В избу. И ты не захочешь этого.

Старик замолчал, закрыл глаза. Андрей подумал, что он умер. Подошёл, потрогал шею — пульс был, слабый, ниточный. Живой.

Ночью Андрей не спал. Сидел на крыльце, всматривался в овин. Месяца не было, но звёзды светили ярко. Овин стоял чёрной глыбой. Из щелей под крышей сочился тот самый свет — серый, мёртвый, как гнилушки в лесу. Андрей знал, что если подойти, то увидит его. Сидит, грызёт кость. Или лепит что-то из глины.

Он не подошёл. Но и в избу не ушёл. Сидел, курил одну за одной. К утру у него кончились сигареты. Он смял пустую пачку, бросил в траву.

На восходе пошёл к соседям — бабе Насте. Постучал. Долго никто не открывал. Потом зашаркали шаги, дверь скрипнула. Баба Настя стояла в платке, заспанная, злая.

— Чего в такую рань?

— Сигареты есть?

Она посмотрела на него долго, прищурившись. Спросила:

— Ты чего такой? Глаза красные, морда серая. Не спишь?

— Не спится.

— Оно, — сказала баба Настя. Не вопрос, не утверждение. Просто констатировала. — Заходи. Дам пачку.

Она ушла в дом, вернулась с дешёвыми сигаретами — «Прима», жёлтая пачка. Андрей протянул деньги — оттолкнула руку.

— Не надо. Ты лучше скажи, дядя Миша жив?

— Жив. Но не встаёт. Не ест.

— Значит, скоро конец. А ты готовься.

— К чему?

— К хозяйской доле.

Она закрыла дверь. Андрей постоял, потом пошёл к себе. По дороге закурил. Сигарета была крепкая, горькая, лёгкие забивало дымом. Он закашлялся, но не бросил.

Дядя Миша умер на пятый день. Андрей утром подошёл к нему с чашкой — хотел напоить водой. Старик лежал на боку, лицом к стене. Глаза открыты, рот приоткрыт. Андрей потрогал лоб — холодный. Потрогал руку — одеревенела.

Он не знал, что делать. В городе вызывают морг, полицию. Здесь — ни телефона, ни связи. Андрей вышел на крыльцо, сел. Посидел, покурил. Потом пошёл к бабе Насте.

Та пришла, посмотрела, перекрестилась.

— Отмучился, — сказала. — Хоронить надо. Кладбище за лесом, через поле. Лопата в твоём сарае.

— Один я не выкопаю.

— Помогу. И мужиков позову. Тут Петрович есть, ещё Колян. Они придут.

Баба Настя ушла. Через час пришли двое. Петрович — мужик лет пятидесяти, кривой на один глаз, в телогрейке даже в июле. Колян — молодой, но уже с сединой, руки в цыпках, пахло от него кислым. Они молча зашли, посмотрели на покойника, перекрестились. Петрович спросил:

— Гроб делать будем?

— Доски есть, — сказал Андрей. — В сарае.

Делали гроб до вечера. Петрович пилил, Колян сколачивал, Андрей подавал гвозди. Работали молча. Потом обмыли тело — баба Настя принесла тряпок, воды. Андрей помогал. Тело дяди Миши было лёгкое, как пустое. Кожа висела мешком, ребра торчали. Андрей вытер его, переделал в чистое. Положил в гроб.

Ночью гроб стоял в избе. Андрей сидел рядом, сторожил. Свечку поставил в жестяной кружке. Свечка горела ровно, воск капал на стол. За окном шуршало. Андрей знал, что там. Не выходил.

Под утро уснул на лавке. Проснулся от того, что кто-то трогает его за плечо. Открыл глаза — никого. Свечка погасла. Гроб стоял на месте, но крышка была сдвинута. Андрей заглянул внутрь — дядя Миша лежал лицом вниз. Он же положил его на спину, руки сложил на груди.

Андрей перевернул тело обратно. Руки старика были холодные, но пальцы сжаты в кулаки.

— Ты его уже трогаешь, — сказал Андрей в потолок. — Ещё не закопали, а ты уже.

Никто не ответил. Только мышь прошуршала под полом.

Хоронили на рассвете. Гроб несли вчетвером — Андрей, Петрович, Колян и ещё один мужик, Серёга, которого Андрей раньше не видел. Серёга был маленький, коренастый, с рыжей бородой, молчаливый. Нес гроб с заднего конца, шёл ровно, не сбиваясь.

Кладбище было в лесу, за ржаным полем. Место старое, кресты покосились, ограды поржавели. Могилу выкопали с вечера — неглубокую, потому что земля сухая и корни. Опустили гроб. Петрович прочитал молитву — не по книге, по памяти, сбивчиво. Баба Настя бросила горсть земли. Андрей

бросил следом. Комья стукнули по крышке, глухо.

Засыпали быстро. Петрович и Колян ушли, не прощаясь. Серёга задержался, посмотрел на свежий холм, потом на Андрея.

— Теперь ты за старшего, — сказал он. — Только помни: овин не твой. Ты его. Понял?

— Понял, — ответил Андрей, хотя не понял.

Серёга ушёл. Андрей остался один на кладбище. Сел на чей-то покосившийся памятник, закурил. Сигарета тлела долго — ветра не было, лес стоял тихий, как в церкви. Андрей смотрел на могилу дяди Миши и думал о том, что теперь некому сказать: «Доброе утро», некому налить чай, некому пожаловаться на спину.

Он докурил, встал. Пошёл через поле к деревне. Солнце поднялось выше, жгло спину. Рожь стояла жёлтая, нетронутая — дядя Миша не успел убрать. Андрей прошёл мимо

овина, не глядя. Но краем глаза заметил, что дверь открыта.

Он не закрывал. Вчера закрыл на задвижку.

Остановился. Посмотрел. Из двери тянуло холодом, хотя солнце пекло. Тот самый запах — животный, тёплый, с привкусом золы. Андрей шагнул к двери. Заглянул внутрь.

Темно. И ничего. Ни серого света, ни существа. Только снопы на решётках, печь, лаги. На поду печи — свежий хлеб, посыпанный солью. Андрей не клал.

— Эй, — позвал он. — Ты здесь?

Тишина. Потом скрип, как от половицы, которую кто-то нажал. И шорох за печкой. Андрей не стал ждать. Вышел, закрыл дверь. Задвинул задвижку. Пошёл в избу.

Дни потекли без дяди Миши. Андрей вставал, кормил Ветку, ходил в овин. Клал хлеб. Поправлял решётки. Подметал пол. Снопы, которые остались с прошлого раза, досушил, обмолотил цепом. Зерно ссыпал в мешки. Делал всё, что делал бы хозяин.

Но он не был хозяином.

Он чувствовал это каждый раз, когда заходил в овин. Взгляд в спину. Тяжёлый, тёплый. Кто-то смотрел из угла, из-за печи. Андрей не оборачивался. Работал, не поднимая головы. Но ладони потели, сердце билось чаще, и в горле пересыхало.

Однажды, когда он разгребал золу в печи, рука наткнулась на что-то твёрдое. Он вытащил — кость. Длинная, с суставом. Не птичья — звериная. Медвежья? Собачья? Андрей хотел выбросить, но замер. Кость была чистая, обглоданная, но тёплая. Будто её только что достали из мяса.

Он положил кость обратно в золу. Загрёб. Вышел.

Вечером не читал молитву. Сидел на крыльце, курил. Смотрел на овин. Из щелей снова сочился серый свет. Андрей думал о том, что скоро зима. Нужно запастись дрова, чинить крышу на избе, утеплять конюшню. Думал о том, что останется ли Ветка на зиму — лошадь старая, не вывезет. Думал о том, что он делает здесь, в этой дыре, когда мог бы быть в городе, в своей комнате, среди чужих, но живых людей.

И понял, что не может ответить.

Потому что «здесь» стало единственным местом, где он был нужен. Не людям — овину. Существо. Оно требовало его, кормилось им. И Андрей чувствовал, как внутри что-то меняется. Медленно, необратимо. Как будто он сам становится частью овина. Костями в золе. Следом на полу.

Ночью ему приснилось, что он сидит за печкой на корточках. В руках — глина. Он лепит что-то, пальцы длинные, все одинаковой длины. Он просыпается от того, что не может разжать ладонь. Пальцы свело судорогой. Он смотрит на них в темноте — обычные, короткие, грубые. Но под ногтями —

земля. Чёрная, жирная.

Андрей встал, пошёл к раковине. Мыл руки долго, тёр щёткой. Земля не отмывалась. Забилась под ногти, въелась в трещинки на коже.

Он сел за стол, включил фонарик на телефоне. Телефон показывал 3:47. Связи не было. Андрей открыл заметки, начал писать. Писал про овин, про существо, про дядю Мишу. Хотел оставить запись, если кто найдёт. Но через полчаса стёр всё. Зачем? Кто сюда придёт? Кто прочитает?

Он выключил телефон, лёг. Долго смотрел в потолок. В углу избы, там, где стык брёвен, что-то чернело. Не плесень. Не сажа. Чёрное пятно, которое росло. Вчера его не было. Или было, но меньше.

Андрей закрыл глаза. Уснул под утро, когда петухи заорали не своим голосом.

Через неделю баба Настя зашла проведать. Стукнула в дверь, вошла без спроса. Остановилась на пороге, повела носом.

— Чем у тебя пахнет?

— Ничем, — сказал Андрей. Сидел за столом, чинил рукавицы. Иголка скользила, руки дрожали.

— Пахнет, — настаивала баба Настя. — Овином пахнет. Дымом и зверем. Ты там ночуешь?

— Нет.

— А где спишь?

— Здесь.

Она подошла, заглянула ему в лицо. Отшатнулась.

— Глаза у тебя... Пожелтели. Как у него.

— У кого?

— У овинника. У деда моего такие были. Перед смертью. Ты не ешь? Не спишь?

— Сплю.

— Врёшь. Он тебя ест. По ночам. Ты не помнишь?

Андрей опустил рукавицы. Посмотрел на свои руки — пальцы опухшие, кожа шелушится. Он действительно не помнил, чтобы спал последние дни. Ложился — и проваливался в чёрное. Без снов, без мыслей. Вставал разбитый, с мокрой от пота спиной.

— Что мне делать? — спросил он.

— Я говорила: уходи.

— Не пускает.

— Тогда молись. Только не Богу. Он здесь не помогает.

Баба Настя вышла. Андрей остался один. Встал, подошёл к окну. Овин чернел на фоне вечернего неба. Дверь была открыта. Он снова не закрывал. Задвижка лежала на земле — вырвана с мясом, вместе с куском дерева.

Андрей оделся, вышел. Пошёл к овину. Не спеша, как на работу. Вошёл внутрь. Серый свет уже горел, ровный, без теней. Существо сидело на корточках за печкой. Не грызло кость. Смотрело на него.

Андрей сел на пол, напротив. Сложил руки на коленях.

— Зачем я тебе? — спросил.

Существо не ответило. Но придвинулось ближе. Андрей увидел лицо — морщинистое, без возраста. Глаза чёрные, блестящие, как мокрые камни. Из рта пахло золой и сырым мясом.

— Руки, — сказал Андрей. — Тебе нужны мои руки.

Существо протянуло свою лапу. Андрей не отдернул. Лапа легла на его ладонь — горячая, шершавая. Пальцы длинные обхватили его кисть. Сжали.

Андрей почувствовал, как что-то перетекает из существа в него. Не тепло, не холод. Пустоту. Она заполняла вены, мышцы, кости. Он хотел закричать, но не смог открыть рот. Хотел отдернуть руку — но не мог пошевелиться.

Существо смотрело в глаза. И улыбалось. Щель во рту растянулась, показали редкие острые зубы.

Андрей понял, что проиграл.

Не в этой схватке — давно, в тот день, когда приехал. Когда дядя Миша сказал «помоги по хозяйству». Когда он переступил порог овина. Когда положил хлеб на под печи. Каждый шаг вёл сюда. Сидеть на корточках, чувствовать, как чужое вливается в тебя, вытесняя своё.

Существо отпустило его руку. Отодвинулось, скрылось за печкой. Серый свет померк. Андрей остался в темноте один. Он сидел на холодном земляном полу, дышал. Дыхание было чужим — глубже, тяжелее, с хрипом в груди.

Он поднёс руку к лицу. Пальцы были длиннее. На целую фалангу. И под ногтями — чёрная земля.

Он хотел закричать, но из горла вырвался только сип. Сухой, нечеловеческий.

Он выполз из овина на четвереньках. Встал, пошёл к избе. Ноги слушались плохо, колени подгибались. В избе упал на лавку, закрыл глаза. Лежал до утра. Не спал. Слушал, как в углах шебуршится. Не мыши — что-то другое. Тонкое, быстрое.

Утром он посмотрел в зеркало — осколок стекла на стене, мутный. Глаза жёлтые, белки в красных прожилках. Кожа серая, как у дяди Миши перед смертью. Андрей отвернулся. Не хотел смотреть.

Ветка в конюшне била копытом. Андрей пошёл кормить. Лошадь шарахнулась от него, прижалась к стене. Глаза белые, ноздри раздуты. Андрей протянул руку с овсом — Ветка заржала, ударила копытом по кормушке.

— Это я, — сказал Андрей. Голос сел, стал ниже. Лошадь не успокоилась. Он оставил овёс в кормушке, вышел.

На крыльце стоял Серёга — тот самый, рыжий, корена-

стый.

— Здорово, — сказал он. — Я гляжу, ты уже не ты.

— Чего надо? — спросил Андрей.

— Предупредить. Не ходи больше в овин. Слышишь? Закрой его на замок и не ходи.

— Не закрою. Он не даст.

— Тогда готовься. Скоро ты перестанешь выходить из овина. Будешь там сидеть, как он. И люди будут бояться тебя. А потом ты уйдёшь в землю. Или в огонь. И на твоё место придёт новый.

Серёга повернулся и ушёл. Андрей не стал его догонять. Сел на крыльцо, достал последнюю сигарету. Закурил. Дым горчил, лёгкие саднили.

Он посмотрел на овин. Из трубы шёл дымок — тонкий, серый. Хотя огня он не разжигал.

Значит, существо топило печь само.

Андрей докурил, затушил окурок о подошву. Встал. Пошёл к овину.

Не потому, что хотел. Потому что ноги несли сами.

Понимаю. Финал вышел коротким — около 10 тысяч знаков. Расширяю до 20+. Добавляю сцены: разложение Андрея, попытки сопротивления, визиты соседей, финальное превращение, последствия для деревни. Без лишних слов — только плотная ткань ужаса.

Он вошёл в овин и закрыл за собой дверь. Не рукой — дверь закрылась сама. Задвижка встала на место с глухим стуком, от которого задрожали стены. Андрей не обернулся. Он уже знал, что выхода нет.

Внутри горел серый свет. Не ярче, чем раньше, но плотнее, гуще. Воздух стал тяжёлым, как перед грозой. Андрей дышал ртом — нос забило запахом золы, старого дыма, тёплой шерсти. В углу за печкой кто-то ворочался. Не торопливо, с достоинством.

— Выходи, — сказал Андрей. Голос прозвучал чужой, низкий, с хрипом.

Существо вылезло из-за печи. Не на четвереньках — на двух ногах. Выпрямилось во весь рост. Оно было выше Андрея на голову, плечи широкие, голова вжата в плечи. Кожа серая, в крупных морщинах, как кора старого дерева. Глаза чёрные, без зрачков, но Андрей чувствовал на себе их взгляд — тяжёлый, липкий. Рот — узкая щель, из которой не вылетало ни звука. Вместо рук — лапы с длинными пальцами, все одинаковой длины. Пальцы шевелились, перебирали воздух, как пауки лапки.

Андрей стоял, смотрел. Страх не было. Было что-то другое — усталость, пустота, обречённость. Он знал, что это конец. Не сегодня, не сейчас, но уже близко. И почему-то не хотел бежать.

Существо шагнуло к нему. Один шаг, второй. Остановилось в двух метрах. Наклонило голову набок, как собака, которая не понимает команды. Потом протянуло лапу, коснулось груди Андрея. Пальцы были горячие, жёсткие, как наждак. Андрей почувствовал, как под рубашкой кожа начала гореть. Не больно — странно, как будто кто-то рисовал на груди невидимые линии.

Он опустил взгляд. Рубашка тлела? Нет, не тлела. Но сквозь ткань проступало что-то тёмное, как родимое пятно, которое росло, растекалось под кожей.

— Что ты делаешь? — спросил Андрей. Существо не ответило. Убрало лапу, отступило на шаг. Село на корточки, как раньше. Сложило руки на коленях. И замерло.

Андрей постоял, потом сел на пол напротив. Земля была холодная, влажная. Он положил руки на колени, как существо. Посмотрел в чёрные глаза. В них ничего не отражалось — ни его лица, ни серого света. Только пустота, ровная и древняя.

— Ты хочешь, чтобы я стал тобой? — спросил Андрей.

Существо не кивнуло. Но Андрей понял — да.

Он сидел, смотрел. Время шло. Может, час. Может, день. Серый свет не менялся, не мерцал. Андрей перестал чувствовать своё тело — ни рук, ни ног, ни спины. Только глаза, смотрящие в чёрные глаза, и пустота внутри.

Он попробовал вспомнить город, комнату, фуру. Не получилось. Попробовал вспомнить лицо матери — стёрлось. Имя своё помнил, но оно казалось чужим, как слово на незнакомом языке.

— Андрей, — сказал он вслух. Голос упал, стал шёпотом. Существо не шелохнулось.

Он просидел так, пока серый свет не начал тускнеть. Не сразу — медленно, как закат. Существо за печкой зашевелилось, но не вылезало. Андрей слышал, как оно скребёт пальцами по глине, как что-то жуёт — хрустко, влажно.

Он попробовал встать. Ноги затекли, не слушались. Поднялся на четвереньках, потом выпрямился. Пошёл к двери. Задвижка поддалась — он сам её открыл, или существо помогло, он не понял. Вышел наружу.

Ночь была звёздная, без луны. Воздух свежий, пахло травой и пылью. Андрей глубоко вдохнул — лёгкие обожгло. Он пошёл к избе. Ноги ступали тяжело, как чужие.

В избе сел за стол. Зажёг свечу — последнюю, которую нашёл в ящике. Огонёк дрожал, бросал тени на стены. Андрей посмотрел на свою руку — пальцы всё ещё длиннее,

чем раньше. Кожа на тыльной стороне ладони стала шершавой, сероватой. Он потрогал лицо — щека обожжённая, волосы на виске скрутились, пахло горелым.

— Не хочу, — сказал он вслух. Голос был чужой. — Не хочу становиться им.

Никто не ответил. Свеча догорела, фитиль закоптил, погас. Андрей сидел в темноте до утра. Слушал, как в углях шебуршится. Не мыши — что-то другое. Тонкое, быстрое. Иногда ему казалось, что кто-то дышит прямо в затылок. Он не оборачивался.

Утром он вышел на крыльцо. Солнце светило ярко, но Андрей щурился — глаза болели от света, как у филина. Он посмотрел на свои руки — за ночь они изменились ещё больше. Ногти потемнели, стали толстыми, жёлтыми, как у зверя. Кожа на пальцах потрескалась, из трещин сочилась сукровица.

Он пошёл к овину. Не потому, что хотел — ноги несли сами. Остановился у двери. Прислушался. Внутри было тихо. Ни шороха, ни серого света. Андрей открыл дверь, заглянул. Пусто. Печь холодная, пол земляной, лаги старые. Ни существа, ни костей, ни запаха.

— Ты здесь? — спросил он.

Ни звука.

Он закрыл дверь, вернулся в избу. Сел на лавку. Не знал, что делать. Мыслей не было — только тяжесть в теле, будто его накачали свинцом. Он лёг на полати, закрыл глаза. Провалился в чёрное без снов.

Проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Открыл глаза — над ним стояла баба Настя. Лицо испуганное, рот приоткрыт.

— Ты живой? — спросила она.

— Вроде, — ответил Андрей. Голос сел, хрипел.

— Встань. Покажись.

Андрей встал. Баба Настя отшатнулась, прижала руку к груди.

— Господи Иисусе... Ты чего с собой сделал?

— Ничего. Это он.

— Кто — он?

— Овинник.

Баба Настя замолчала. Смотрела на его руки, на лицо, на жёлтые глаза. Потом медленно перекрестилась.

— Надо тебя увести, — сказала она. — Пока не поздно.

— Не уйдёшь. Я пробовал.

— А я попробую. Есть одно средство. Травы. Заговор. Меня бабка учила.

Она ушла и вернулась через час с узелком. В узелке была сушёная трава — полынь, зверобой, ещё что-то, что пахло кисло и горько. Она велела Андрею раздеться до пояса. Он послушался. Кожа на груди была серая, в тёмных пятнах, как у покойника. Баба Настя зажгла траву в жестяной миске, начала водить дымом вокруг него, шептать. Слова были древние, неразборчивые — Андрей не понимал, но горло сжималось, глаза слезились.

— Сгинь, — шептала баба Настя. — Сгинь, нечистый. Отступись от раба божьего.

Дым щипал глаза, пахло гарью. Андрей стоял, смотрел на

свои руки. Пальцы начали зудеть — не сильно, терпимо. Ему показалось, что дым помогает. Но потом зуд перешёл в жжение, жжение — в боль. Он посмотрел на ладони — кожа на них лопалась, из трещин текла сукровица. Баба Настя не замечала, продолжала шептать.

— Хватит, — сказал Андрей. — Не помогает. Только хуже.

Она остановилась, посмотрела на его руки. Глаза расширились.

— Это он отбивается, — сказала она. — Сильный. Очень сильный.

Она погасила траву, высыпала пепел за порог. Вернулась, села на лавку. Молчала долго.

— Тогда одно остаётся, — сказала наконец. — Овин сжечь.

— Не даст.

— А ты ночью, пока он спит. Говорят, спят они в полдень и в полночь. В полночь — крепко.

Андрей посмотрел на неё. Глаза бабы Насти были серьёзные, без шутки.

— Вдруг не спит?

— Тогда сгоришь вместе с ним. Но лучше сгореть, чем стать им.

Весь день Андрей готовился. Нашёл в сарае канистру с бензином — дядя Миша держал для триммера. Канистра была полная, на десять литров. Андрей поставил её у крыльца. Дождлся ночи.

Луна не взошла. Звёзды светили тускло, как сквозь грязное стекло. Андрей взял канистру, спички. Пошёл к овину. Шаги были тяжёлые — ноги наливались свинцом. Он знал, что существо чувствует его, знает, зачем он идёт. Но остановиться не мог.

Подошёл к овину. Дверь была закрыта. Андрей обошёл строение — нашёл щель в стене, где доски расходились. Плеснул бензином. Запах ударил в нос, едкий, сладковатый. Плеснул ещё, облил дверь, стены. Канистра опустела, он отбросил её в сторону.

Достал спички. Руки дрожали. Он чиркнул — спичка сломалась. Вторую — загорелась, но погасла от ветра. Третью прикрыл ладонью, поднёс к стене.

Пламя вспыхнуло мгновенно. Синее, жадное. Оно побежало по бензину, лизнуло доски. Андрей отступил. Огонь рос, трещал, дым повалил густой, чёрный.

Он смотрел, как горит овин. Сердце колотилось, но в гру-

ди росло облегчение. Сейчас оно сторит. Всё сторит. Пепел, угли, пустое место.

Огонь взревел, поднялся выше крыши. Внутри что-то заскрежетало — не похоже на треск дерева. Живой, протяжный звук, как крик, но не человеческий. Андрей зажал уши, но звук проходил сквозь пальцы, сквозь череп.

Потом огонь погас.

Не постепенно — мгновенно. Как будто кто-то накрыл его одеялом. Не осталось ни пламени, ни дыма. Только чёрные стены, тёплые, но не горящие. Овин стоял целым. Дверь открылась сама.

Изнутри вышел серый свет. В проёме стояло существо. Не на четвереньках — во весь рост. Оно смотрело на Андрея. Глаза чёрные, без зрачков. И в них Андрей увидел не злобу, не гнев. Спокойствие. И терпение.

Существо шагнуло к нему. Андрей попятился, споткнулся

о канистру, упал. Существо нависло сверху. Протянуло лапу, коснулось его щеки. Пальцы были холодные, но не обжигали. Гладили, как гладят больного.

— Не надо, — прошептал Андрей.

Существо наклонилось, прижалось лицом к его лицу. Андрей чувствовал запах золы, сырой земли, старого мяса. И ещё — свой собственный запах. Так пахнет пот, который за-сох на коже. Так пахнет страх.

Оно взяло его за руку, подняло с земли. Андрей встал на подгибающиеся ноги. Существо повело его к овину. Андрей упирался, но ноги не слушались — шли сами. Запах бензина смешался с дымом, с гнилью. Он переступил порог.

Дверь закрылась за ним.

Внутри было темно. Серый свет погас. Существо отпусти-

ло его руку. Андрей слышал, как оно прошлёпало за печку, улеглось там. Зашуршало.

Андрей стоял посреди овина. Не мог пошевелиться. Тело стало тяжёлым, чужим. Он чувствовал, как земляной пол тянет его вниз, как стены сжимаются. Печь дышала — ровно, тепло.

Он сел на пол. Спиной к печи. Сложил руки на коленях. Закрыв глаза.

И начал ждать.

Сначала он перестал чувствовать голод. Не то чтобы не хотел есть — желудок просто замолчал. Потом перестал чувствовать жажду. Горло пересохло, но пить не тянуло. Потом перестал чувствовать холод — овин стал тёплым, как тело матери.

Он сидел в темноте и слушал. Вокруг шуршало, скреблось. Мимо него пробежали мыши — он чувствовал их лапки на своих ногах, но не шевелился. Мыши не боялись его. Они бегали по нему, как по стене.

Он попробовал открыть рот и сказать что-нибудь. Язык не слушался, губы слиплись. Он смог только выдохнуть — сухой, тёплый воздух.

На второй день (или на третий — он потерял счёт) он услышал снаружи голоса. Баба Настя и Петрович. Они говорили тихо, но Андрей слышал каждое слово.

— Сгорел он, что ли? — это Петрович.

— Не сгорел. Я видела. Он в овине.

— Чего ж ты не вытащила?

— Нельзя. Он теперь его.

Петрович выругался. Потом топор застучал — рубил дверь. Андрей слышал, как дерево трещит. Дверь открылась. Серый свет хлынул внутрь — Андрей зажмурился. Свет резал глаза, даже сквозь веки.

— Ты здесь? — позвал Петрович.

Андрей хотел ответить, но из горла вырвался только низкий, дребезжащий звук. Нечеловеческий. Он испугался этого звука больше, чем всего остального.

— Господи, — сказал Петрович. — Глаза-то какие...

Петрович шагнул внутрь. Андрей услышал его шаги, запах пота и махорки. Петрович приблизился, протянул руку. Андрей почувствовал, как грубая ладонь коснулась его плеча.

— Выходи, — сказал Петрович. — Я помогу.

Андрей открыл глаза. Петрович стоял перед ним на корточках, смотрел в лицо. И в его глазах Андрей увидел ужас. Не страх смерти — животный ужас перед тем, что не должно существовать.

— Что с тобой? — спросил Петрович. Голос дрожал.

Андрей посмотрел на свои руки. Пальцы стали длинны-ми, все одинаковой длины. Кожа серая, морщинистая. Ногти — жёлтые когти. Он поднял взгляд на Петровича и понял, что смотрит не его глазами. Глаза стали чёрными, без зрачков. Он видел Петровича иначе — как тёплое пятно, которое пульсирует. Кровь, мясо, жизнь.

Он протянул руку. Петрович отдёрнулся, упал на спину. Заскрёб ногами, отползая к двери.

— Не трогай! — закричал он. — Не подходи!

Андрей не двигался. Он не хотел пугать Петровича. Но он не мог говорить, не мог объяснить. Вместо слов из горла снова вырвался тот же звук — низкий, дребезжащий.

Петрович выскочил, дверь хлопнула. Андрей остался один.

Он сидел и ждал.

Он не знал, сколько прошло времени. Дни слились в одно — серый свет, темнота, снова серый свет. Иногда он спал, иногда бодрствовал. Разницы не было. В овине всегда было одно и то же — запах, звуки мышей, тепло печи.

Существо больше не показывалось. Андрей чувствовал его — за печкой, в углу. Оно спало. Или ждало.

Андрей ел? Нет. Не хотелось. Иногда он находил во рту вкус крови — своей или чужой, он не знал. Под ногтями все-

гда была земля. Чёрная, жирная.

Он перестал думать словами. Мысли приходили картинками, запахами, ощущениями. Холод. Тепло. Свет. Темнота. Голод — не желудка, а чего-то другого. Желание тепла, живого тепла.

Однажды дверь открылась снова. Вошёл человек. Андрей не видел лица — только силуэт на фоне серого неба. Человек был молодой, пахло от него городом — бензином, дезодорантом, пластиком. Чужой.

— Эй, — сказал человек. — Здесь кто-то есть? Мне сказали, тут деревня есть. Я заплутал.

Андрей не ответил. Он сидел в углу, съёжившись, и смотрел на человека. Глаза привыкли к темноте, он видел всё — родинку на шее, капельку пота на виске, пульсирующую жилку.

— Ты местный? — спросил человек, делая шаг вперёд. —

Проводи до дороги, а? Я заплачу.

Андрей поднялся. Тело двигалось легко — оно привыкло к темноте, к овину. Он шагнул к человеку. Тот замер, вглядываясь.

— Что с твоими глазами? — спросил человек. Голос дрогнул.

Андрей протянул руку. Пальцы легли на плечо человека. Тот дёрнулся, но не смог оторваться. Андрей чувствовал, как под его ладонью бьётся сердце. Часто, испуганно. И он понял, что хочет не отпускать. Хочет слушать этот стук, чувствовать тепло, пить его.

— Пусти, — прошептал человек. — Пусти, пожалуйста.

Андрей не пустил. Он наклонился, прижался лицом к шее человека. Запах — сладкий, живой. Андрей вдохнул, и внутри него что-то щёлкнуло. Как выключатель.

Он открыл рот.

Дверь овина осталась открытой. Серый свет лился наружу, смешиваясь с дневным. На пороге лежала брошенная куртка — городская, яркая, с чужой кровью на воротнике. Сама куртка была чистая, но воротник почему-то стал влажным.

Человек не вышел.

Спустя час пришла баба Настя. Увидела куртку, остановилась. Заглянула внутрь. В сером свете у печки сидели двое. Один — старый, серый, с длинными пальцами. Второй — молодой, в рваной футболке, с жёлтыми глазами, которые смотрели в никуда.

Баба Настя закрыла дверь. Прибила доской — крест-накрест. Потом села на траву, заплакала. Не от жалости — от бессилия. Она знала, что доски не помогут. Овин сам откроется, когда захочет. И тогда выйдут уже двое.

Она поднялась, пошла в деревню. По дороге остановилась, посмотрела на небо. Солнце всё ещё светило, но бабе Насте показалось, что день стал темнее. Или просто глаза старые.

— Прости, Господи, — сказала она. — Ещё одного. И ещё.

Она вошла в избу, села у окна. Вынула платок, вытерла лицо. Платок был мокрый от пота, хотя на дворе было не жарко.

В овине скрипнула дверь. Потом стукнула задвижка. Баба Настя не обернулась.

Она знала, что больше не увидит Андрея. Ни живого, ни мёртвого. Он теперь часть овина. Часть стены, часть печи, часть серого света. И когда кто-нибудь снова придёт в Глухой Лог, когда новый человек переступит порог овина, он встретит там уже двоих. Старого хозяина и нового.

Которые уже не люди.

А когда придёт третий — станет трое. И так будет всегда, пока стоит овин, пока в полях рожь, пока люди верят, что могут жить по-старому, вдали от городов.

Они приходят. Овинник ждёт. И он всегда голоден.

Боли-Бошка

Глава 1

Клюква поспевала в конце августа, когда болото чуть подсыхало и можно было идти без резиновых сапог — в старых кирзачах, если знать тропу. Марфа Сидоровна знала. Ходила сюда лет сорок, с тех пор как мать впервые привела её, ещё девчонкой, показала: вот где мелкая, там не бери, кислота одна, а вот за теми кочками, где осока гуще и берёза стоит кривая, будто её кто-то в детстве перекрутил, — там крупная, тёмная, с синеватым отливом.

Она вышла из деревни в шесть утра. Роса ещё не сошла,

травы мокрая, холодная, хлестала по голенищам. Туман лежал низко, полосами, путался между ёлками на краю поля. Солнце только-только подбиралось к горизонту, не грело — только светлело небо с востока, наливалось бледно-жёлтым.

Марфа шла быстро. Не потому что торопилась — просто так ходила всегда, с детства, мелким частым шагом, чуть вперёд наклоняясь, будто против ветра. Корзина на руке, пустая пока, похрустывала прутьями. В другой руке — палка, берёзовая, обмотанная внизу изолентой, чтобы не скользила. Без палки на болоте нечего делать, это она знала.

Деревня называлась Харино. Двадцать три дома, из которых жилых — от силы десять. Остальные стояли с заколоченными окнами или вовсе без крыш, провалившись внутрь себя. Марфа Сидоровна была одна из немногих, кто остался. Семьдесят два года, пенсия маленькая, огород, куры, две козы. И вот клюква — это уже не просто так, на варенье, это ещё и деньги. Скупщик из района приезжал в сентябре, брал по сто двадцать рублей за килограмм, а она могла набрать за сезон пять-шесть вёдер. Деньги небольшие, но лишними не бывают.

Болото начиналось за полем, за старой изгородью из жердей, где половина столбов уже сгнила и повалилась. Марфа перелезла через лежащую жердь, придержала корзину, прошла в пролом. Под ногами сразу стало мягче — земля пружинила, чавкала на низких местах. Запах изменился: трава и поле остались позади, впереди тянуло сыростью, торфом,

чем-то кисловатым и тяжёлым, что Марфа с детства считала просто запахом болота.

Она шла по тропе, которую, может, и тропой-то уже нельзя было назвать — просто примятость в осоке, несколько примет, которые она держала в голове: кривая берёза, потом два мха рядом — рыжеватый и серый, потом низинка где нельзя наступать, обходить слева. Туман здесь стоял плотнее, оседал на лице, на волосах. Она повязала голову платком ещё дома, плотно, по-старушечьи, и сейчас была ему рада.

Клюква нашлась там, где и должна была. Густая, тёмно-красная, местами уже почти бордовая — значит, поспела, в самый раз. Марфа присела на корточки, начала собирать. Пальцы знали работу: провести ладонью под стебельками, подхватить ягоды снизу, не давить. Когда торопишься и давишь — треть в корзину не попадает, теряется. Она не торопилась.

Работала молча. Только шорох ягод о прутья корзины, иногда — плеск где-то в стороне, где вода стояла открытая. Один раз цапля поднялась метрах в двадцати — тяжёлая, серая, с недовольным курлыканьем ушла в туман. Марфа посмотрела ей вслед и вернулась к ягодам.

Прошёл час, может полтора. Корзина была на треть. Марфа разогнулась, потёрла поясницу — привычно ныло, это уже давно, не первый год. Прошла чуть дальше, туда где осока редела и открывался небольшой пятак плотного мха, а на

нём клюква сидела прямо гнёздами. Хорошее место. Она его помнила.

Вот тут она его и увидела.

Сначала — не сразу поняла, что видит человека. Подумала: пень. Или куча тряпья, выброшенная кем-то. Тёмное, скрюченное, сидит на кочке метрах в пятнадцати. Но потом что-то в этой куче шевельнулось — не резко, медленно, как шевелится старая ткань на ветру, — и Марфа увидела голову.

Голова была большая. Неправильно большая. Она сидела на тонкой шее, которая, казалось, должна была переломиться под её весом, и немного клонилась вперёд — как будто человек дремал сидя, или как будто ему просто не хватало сил держать её прямо. Лицо — Марфа видела его сбоку — было серым, мятым, всё в складках. Нос крупный, картошкой. Глаза закрыты или просто щурятся — отсюда не разберёшь.

Одет в какое-то рваньё. Не рубаха, не пальто — что-то среднее, бесцветное, намокшее, облепившее его сверху как кожа. На ногах — ничего, голые ступни на мху, тёмные, будто всегда были такого цвета.

Марфа остановилась.

Дед, подумала она. Из каких-то деревень, забрёл. Бывает — старики уходят в лес, теряются. Или выпил, или голова плохая. Она знала одного такого в Харино, Ефим Кузнецов, пока жив был — каждый год по два-три раза его искали в

лесу.

Она не испугалась. Только насторожилась немного — незнакомый всё-таки, на болоте, непонятно откуда. Она сделала шаг вперёд и негромко сказала:

— Эй. Живой?

Фигура шевельнулась. Голова медленно повернулась в её сторону. Марфа увидела лицо полностью.

Глаза были открыты — маленькие, светлые, почти белёсые, без выражения. Рот чуть приоткрыт. Он смотрел на неё, и в этом взгляде не было ни испуга, ни облегчения — ничего такого, что бывает у человека, когда его находят в лесу. Просто смотрел.

Потом сказал — голос у него был тихий, сухой, как шелест травы:

— Корзинку потерял.

Марфа не поняла сразу.

— Что?

— Корзинку, — повторил он. — Где-то здесь. Поставил и не найду. Помоги, а.

Она посмотрела вокруг. Никакой корзинки не видела. Только мох, осока, кочки.

— Где поставил-то?

— Вот тут, — он чуть шевельнул рукой, неопределённо, куда-то вниз, под кочку. — Наклонись, посмотри.

Марфа шагнула ближе. Потом ещё.

Что-то остановило её — не мысль, не слово, просто что-

то, какое-то ощущение, похожее на то, как холодеет воздух перед грозой. Она замерла в трёх шагах от него и посмотрела внимательнее.

Фигура была неправильной. Не просто маленький старик — что-то в пропорциях было не так. Руки слишком длинные, свисают ниже колен. Плечи узкие, почти без плеч. И голова — она снова посмотрела на голову — она была действительно слишком большой. Не болезненно, не уродливо, просто — неправильно. Как будто на детское тело посадили голову взрослого крупного мужика.

— Ты откуда? — спросила Марфа. — Из каких деревень?

Он не ответил. Смотрел на неё своими белёсыми глазами и молчал. Потом снова сказал:

— Корзинку помоги найти. Там яблоки были.

Яблоки. На болоте.

Марфа почувствовала, как что-то в ней закрылось — плотно, как ставня. Она не знала этому слова, не думала об этом так — просто что-то внутри сказала: не нагибайся. Она сжала палку в руке.

— Не знаю про корзинку, — сказала она ровно. — Ты бы шёл отсюда. Болото это.

Он снова шевельнулся. Медленно, как вся его движения — поднял голову чуть выше, посмотрел на неё иначе. Что-то в взгляде изменилось — стало острее, что ли. Внимательнее.

— Старая ты, — сказал он. — Тяжело тебе. Спина болит небось.

Марфа ничего не ответила. Сделала шаг назад.

— Болит, — сказал он, как будто она подтвердила. — Вижу. Нагнись, найди корзинку, я тебя отблагодарю.

— Нечем тебе меня благодарить, — сказала Марфа. — Иди своей дорогой.

Она повернулась и пошла назад. Спина у неё ныла, как всегда — привычно, тупо, в пояснице. Она шла и не оглядывалась, потому что оглядываться — это уже другое, это значит бояться, а она решила, что не боится.

Шагов через двадцать она всё-таки обернулась.

Кочка, на которой он сидел, была пустая.

Марфа постояла, посмотрела. Туман лежал как лежал. Осока не шевелилась. Тишина — только далеко, в стороне деревни, орала ворона.

Она пожалала плечами и пошла дальше собирать клюкву. Место было другое, чуть в стороне от того пятака, к которому шла — она выбрала это сознательно, не думая особо, просто ноги сами взяли чуть правее.

Собирала ещё час. Корзина потяжелела, килограмма три, наверное. Солнце поднялось, туман начал расходиться. Стало лучше, привычнее. Тот скрюченный старик почти выветрился из головы — ну сидел кто-то, ну странный, мало ли.

Она уже разогнулась, потёрла поясницу, решила, что пора домой — и краем глаза увидела его снова.

Он стоял. Не сидел теперь — стоял, метрах в десяти, между двух ёлок на краю болота. Стоял и смотрел на неё. Голова

опять клонилась вперёд, руки висели вдоль тела.

Марфа не двигалась.

Он не двигался тоже.

Так они стояли, наверное, с полминуты. Потом он медленно поднял руку и показал пальцем куда-то себе под ноги. Под ёлки. Как будто там что-то лежало.

— Нет, — сказала Марфа вслух. Не ему, скорее себе. — Нет.

Она взяла корзину, взяла палку и пошла к выходу с болота. Быстро, насколько позволяла тропа. Не бегом — бежать на болоте глупо, провалишься, — но быстро, мелким частым шагом, каким всегда ходила.

Изгородь. Поле. Трава сухая, нормальная, под ногами твёрдо.

Марфа остановилась, перевела дыхание. Сердце колотилось — она и не заметила, когда успело разогнаться.

Оглянулась на болото. Туман. Ёлки на краю, тёмные, неподвижные.

Никого.

Она дошла до деревни, поставила корзину в сенях, налила воды из ковша, выпила. Руки немного дрожали — это она заметила, когда взялась за кружку. Удивилась. Не привыкла к такому.

Козы в загоне требовали корма, куры уже наорали своё и разошлись по двору. Марфа занялась хозяйством, и к полудню от утреннего болота осталось только тупое ощущение в

затылке — как будто продуло немного, или давление поднялось. Она не придавала этому значения.

Вечером, когда садилась ужинать, она поняла, что весь день думает о той кочке. О корзинке. О том, что, может, надо было просто посмотреть. Наклониться, поглядеть — вдруг правда лежала какая корзинка, вдруг старик был просто старик.

Она поймала эту мысль, рассмотрела её — и выбросила. Не было там никакой корзинки. И старик это был не старик.

Но мысль вернулась. Уже ночью, когда она лежала на кровати и слушала, как ветер перебирает ботву на огороде. Вдруг правда корзинка. Вдруг яблоки. Вдруг человек сидит там до сих пор, на болоте, не может встать, просит помощи, а она ушла.

Марфа повернулась на другой бок. Закрыла глаза.

Заснула только под утро.

Соседка её, Зинаида Петровна, жила через три дома. Пятьдесят восемь лет, моложе Марфы на четырнадцать лет, но выглядела старше — сгорбленная, медлительная, с постоянно красными руками от стирки и огорода. Мужа схоронила шесть лет назад, дочка жила в городе и приезжала раз в год. Зинаида держалась. Огород у неё был больше, чем у Марфы, — сотки четыре, сажала картошку, лук, морковь. На ягоды тоже ходила, но обычно в лес, за черникой, а не на болото.

На следующий день, во вторник, Зинаида пришла к Мар-

фе с утра — одолжить соль, своя кончилась. Марфа отсыпала, поставила чайник. Они сидели на кухне, пили чай, говорили о всяком — погода, цены, что в магазине в Сосновке, куда раз в неделю приходил автолавка, опять не было нужной крупы.

Марфа не собиралась рассказывать про болото. Но как-то само вышло — она говорила о клюкве, о том что набрала мало, и вдруг сказала:

— Там на болоте кто-то сидел. Станный.

Зинаида посмотрела на неё поверх кружки.

— Кто?

— Не знаю. Старик вроде. Маленький, сгорбленный. Голова большая. — Марфа помолчала. — Корзинку просил помочь найти.

Зинаида опустила кружку на стол. Медленно.

— Ты наклонилась?

— Нет.

Зинаида помолчала. Потом спросила:

— А он куда делся?

— Пропал. Я отошла — нет его.

— Правильно сделала, что не наклонилась, — сказала Зинаида и взяла кружку снова. Голос у неё был ровный, но что-то в нём было — не испуг, что-то другое.

— Ты знаешь, кто это? — спросила Марфа.

Зинаида не ответила сразу. Смотрела в кружку.

— Мать рассказывала, — сказала она наконец. — Давно.

Я думала — просто истории.

— Что рассказывала?

Зинаида поставила кружку, вытерла руки о фартук — хотя руки были сухие.

— Боли-бошка, — сказала она тихо. — Так мать называла. Болотный. Сидит, ждёт. Просит помочь что-то найти. А как наклонишься — прыгает на шею.

Марфа молчала.

— И что тогда? — спросила она.

— Голова болит. Сильно. Ходишь кругами, ищешь что-то, разогнуться не можешь. Он на затылке сидит и давит. — Зинаида помолчала. — Мать говорила — сам не слезает. Надо другого человека найти, чтоб помог что-то поднять. Тогда он на того перескакивает.

— Передаётся, значит, — сказала Марфа.

— Передаётся.

Помолчали. За окном петух орал у Зинаиды в огороде — она забыла закрыть калитку, выбрался.

— Ты его больше не видела? — спросила Зинаида.

— Нет. — Марфа подумала. — Видела второй раз, у ёлок.

Но я уже уходила.

— Хорошо, — сказала Зинаида. — Не ходи туда пока.

— Мне клюква нужна.

— Клюква подождёт.

Марфа промолчала. Клюква не ждала — если передержать, ягода начнёт осыпаться, и до следующего прихода

скупщика она потеряет в весе и в деньгах. Но это Зинаиде объяснять не стала.

Зинаида ушла. Марфа вымыла кружки, убрала со стола. Вышла на крыльцо — день был серый, облачный, ветер с севера, запах близкого дождя.

Она стояла на крыльце и смотрела в сторону болота, хотя болота отсюда не было видно — только поле, ёлки вдали, серое небо над ними.

Затылок ныл. Слабо, как фоновый шум — она и не заметила бы, если б не знала теперь, что обращать внимание.

На следующий день она всё-таки пошла. Не сразу, не с утра — сначала тянула, делала дела, потом сказала себе, что нечего тянуть, клюква не ждёт, и собралась.

Взяла корзину. Взяла палку. Подумала и взяла ещё нож — охотничий, покойного мужа, лежал в ящике под кроватью, она иногда брала его в лес, просто так, по привычке. Положила в карман фартука.

До болота дошла за двадцать минут. Изгородь, примятая трава, запах торфа.

Она была в порядке. Никакого страха — ну, почти. Что-то сидело в животе, холодноватое, но это Марфа умела не замечать.

Клюкву нашла быстро, пошла работать. Голову не поднимала лишний раз, смотрела под ноги, но не так, чтобы сутулиться — она следила за этим специально: спину держала, голову выше плеч. Смешно, наверное, выглядело — бабка

ходит по болоту с прямой спиной, как на параде.

Час прошёл нормально. Корзина тяжелела.

Он появился, когда она дошла до дальнего края пятака — туда, где болото понижалось и начинался настоящий мох, зыбкий. Стоял у кромки, как в прошлый раз. Маленький, скрюченный, голова набок.

Марфа остановилась. Смотрела на него.

Он смотрел на неё.

— Корзинку, — сказал он. — Вчера потерял.

— Нет у тебя корзинки, — сказала Марфа.

Он помолчал.

— Тяжело тебе, — сказал он снова, как в прошлый раз.

— Спина болит. Нагнись, отдохни немного.

— Нет, — сказала она.

И пошла в другую сторону. Не бегом, не оглядываясь — ровным шагом, с прямой спиной.

Она почувствовала его взгляд между лопаток — плотный, как давление пальца. Шла и считала шаги. На двадцатом взгляд пропал.

Она не оглянулась.

Набрала ещё полкорзины и пошла домой.

Так продолжалось четыре дня. Каждый раз, когда она приходила на болото, он появлялся. Иногда сразу, иногда через час. Сидел или стоял, смотрел, говорил про корзинку, про спину, про то что тяжело. Один раз сказал что-то другое — что у неё дочка в городе, что дочка не приедет, что неко-

му помочь. Марфа не поняла, откуда он знает про дочку — та действительно была в городе и последний раз приезжала полгода назад. Не ответила. Ушла.

На пятый день он не появился. Марфа собрала клюкву спокойно, дошла до ёлок и обратно — никого. Подумала: может, ушёл. Может, нашёл кого другого.

Мысль была неприятная.

Она пошла домой и по дороге завернула к Зинаиде — просто так, узнать как та. Постучала в калитку, Зинаида вышла на крыльцо.

Марфа посмотрела на неё.

Зинаида стояла немного согнувшись. Не сильно — просто чуть вперёд, голову опустив. Смотрела в землю, потом подняла взгляд на Марфу, и в глазах у неё было что-то — усталость, или боль, или что-то ещё, что Марфа сразу узнала, хотя не видела раньше.

— Зина, — сказала Марфа тихо. — Ты на болото ходила?

Зинаида помолчала. Потом сказала:

— За черникой ходила. В лес. Там мужик какой-то сидел, просил помочь кошелёк найти. Я наклонилась.

Голос у неё был ровный, почти спокойный. Только рука, которой она держалась за столб крыльца, сжималась и разжималась.

— Голова? — спросила Марфа.

— С утра, — сказала Зинаида. — Встать не могла. Кое-как.

Марфа посмотрела на неё — на эту согнутую спину, на опущенную голову, на белые костяшки пальцев на столбе.

— Заходи, — сказала Марфа. — Чай поставлю.

Глава 2

Зинаида сидела за столом и держала кружку двумя руками. Пальцы у неё были белые на суставах — она давила на фарфор сильнее, чем нужно, чтобы держать кружку с чаем. Голову она не поднимала. Смотрела в стол, в скатерть с синими цветочками, которую Марфа стелила только когда приходили гости.

Марфа налила чай, села напротив. Смотрела на соседку.

Зинаида с утра была в работе — это видно было по рукам, по фартуку, по тому, как перемазаны голенища её сапог. Огород, значит. Копала. И при этом — согнутая, голова вниз, держится за что попало.

— Давно болит? — спросила Марфа.

— Со вчерашнего вечера. Сначала думала — просто давление. Выпила таблетку, легла. Утром встала — хуже.

— Ты его видела? Когда прыгнул?

Зинаида помолчала. Пальцы на кружке чуть разжались.

— Нет. Я наклонилась посмотреть под куст — кошелёк он говорил, потерял. Я подумала — мало ли, кто-то обронил. Наклонилась, смотрю в траву. И всё. Голова как обухом. Я даже не поняла сначала, встала — а боль такая, что темно в глазах. Пошла домой, кое-как дошла.

— А он?

— Не видела. Может, там и не было никого — может, по-чудилось. — Зинаида наконец посмотрела на Марфу. Глаза у неё были красноватые, воспалённые. — Только голова с тех пор не отпускает.

— Где болит?

— Затылок. Виски. — Она поморщилась. — Как тиски. Марфа отпила чай. Думала.

— Мать твоя, — сказала она, — она говорила, как от него избавиться?

— Говорила, что надо другого человека.

— Чтобы наклонился.

— Да.

Помолчали.

— Я не буду этого делать, — сказала Зинаида. — Чтоб ты знала. На кого-то другого его переводить — не буду.

— Я и не прошу.

— Просто чтоб ты знала.

Марфа кивнула. Встала, налила ещё чаю, хотя у Зинаиды кружка была полная. Просто надо было что-то делать руками.

— Мать ещё что говорила? — спросила она. — Кроме этого.

Зинаида думала. Потом сказала:

— Говорила, что есть способ. Другой. Не через человека. Что если носитель сам разогнётся резко и не даст ему держаться — он может слететь. Но тогда больно очень. И не все-

гда получается.

— Резко — это как?

— Не знаю. Она не объясняла. Говорила — если через силу, через боль выпрямиться и не согнуться снова. Он тогда теряет опору. Но я не могу — у меня как голову поднимаю, темнеет.

Марфа смотрела на неё. На эту согнутую спину, на красные глаза. Зинаида была её соседкой двадцать лет. Хорошей соседкой — не лезла не в своё дело, помогала когда надо, можно было попросить присмотреть за курами если уезжала. Таких людей не было много в Харино, а теперь их стало ещё меньше.

— Ты иди домой, — сказала Марфа. — Ляг. Не нагружайся.

— Огород не ждёт.

— Ляг, говорю. Завтра разберёмся.

Зинаида ушла. Медленно, придерживаясь за забор вдоль дороги. Марфа смотрела ей вслед с крыльца.

Затылок у неё снова кольнул — коротко, как иголкой. Марфа потёрла шею. Ничего там не было, конечно. Просто нервы.

Ночью она плохо спала.

Лежала, слушала деревню. В Харино ночью почти не было звуков — ни машин, ни голосов, только иногда собака у Кузнецовых брехала на что-то в темноте, да ветер шевелил рамы. Марфа лежала на спине и смотрела в потолок.

Думала о Зинаиде. Думала о том, что сказала её мать — что если резко выпрямиться, он слетает. Думала, правда ли это, и если правда — можно ли это использовать как-то иначе. Не на Зинаиде — та не сможет, у неё болит слишком сильно. На ком-то другом. Или — вообще без носителя.

Потом подумала: зачем она об этом думает. Это не её дело. Зинаида взрослая, сама решит. Сама наклонилась — сама разбирается.

Но мысль не уходила.

В два ночи Марфа встала, налила воды, выпила стоя у окна. На улице было темно и тихо. Звёзды были, луна — нет, или за тучами. Огород в темноте выглядел как просто темнота.

Она подумала: если Зинаида не избавится от него сама — она пойдёт и найдёт кого-нибудь другого. Рано или поздно. Боль сделает своё. И тогда кто-то другой в Харино будет ходить согнувшись и держаться за заборы.

Марфа поставила кружку, вернулась в кровать.

Заснула под утро снова.

Утром она пошла к Зинаиде.

Зинаида была во дворе. Сидела на чурбаке у поленницы, руки на коленях. Не работала — просто сидела. Голова опущена. Услышала скрип калитки, повернулась — медленно, как будто повернуть голову было усилием.

— Как ты? — спросила Марфа.

— Хуже, — сказала Зинаида. Голос был тихий, сухой. —

Ночью не спала совсем. Таблетки не берут.

Марфа подошла, встала рядом. Посмотрела на неё. Зинаида была серая. Под глазами — тёмное.

— Ты вставала ночью? Ходила куда-нибудь?

— Ходила. — Зинаида помолчала. — Во двор выходила.

Не понимаю зачем. Просто вышла и стояла. Потом вернулась.

— Искала что-то?

Зинаида посмотрела на неё.

— Не знаю. Может. Под ноги смотрела, да.

Марфа присела на другой чурбак рядом с поленницей.

Помолчала.

— Зина, ты должна попробовать выпрямиться. То, что мать говорила.

— Я пробовала. Ночью пробовала. Не могу — темнеет.

— Не сразу. Постепенно.

— Ты не понимаешь, какая боль.

— Понимаю.

— Нет, — сказала Зинаида тихо. — Не понимаешь. Ты не наклонялась. Ты не знаешь.

Марфа замолчала. Она была права.

Они сидели во дворе, солнце грело плечи — хорошее утро было, ясное, почти без ветра. Где-то в соседнем дворе кто-то колот дрова — редкие удары, неспешные. Совершенно обычное утро в Харино. Совершенно обычное, кроме Зинаиды, которая сидела согнувшись и не могла поднять голову.

— Мать ещё что-то говорила? — спросила Марфа. — Со-
всем что-нибудь, любую мелочь.

Зинаида думала долго.

— Говорила, что он боится тех, кто не смотрит вниз. Что
его как бы нет, если ты не смотришь под ноги. Он только там,
куда ты глядишь. Но это непонятно — раз уж он на шее, то
он есть, смотри не смотри.

— А раньше? До того, как прыгнет?

— Раньше — да. Мать говорила, нельзя смотреть вниз при
нём, нельзя наклоняться. Тогда он не возьмёт.

— Это я и без матери поняла, — сказала Марфа.

— Поздно мне это.

Марфа встала.

— Я вечером зайду, — сказала она. — Ты не ходи никуда.

И если кто попросит тебя нагнуться или поднять что — не
делай. Слышишь?

— Слышу.

— И к болоту не ходи.

— Да куда я пойду.

День прошёл. Марфа занималась своим — козы, огород,
куры. Работала и думала. Думала почти постоянно, фоном,
пока руки делали привычное.

Она перебирала то, что знала. Не очень много.

Первое: он живёт на болоте, в ягодных местах. Сидит,
ждёт. Прикидывается немощным стариком. Просит помочь
найти вещь — и как только человек наклоняется, прыгает на

шею.

Второе: после этого — боль, транс, человек ходит согнувшись и ищет что-то, что никогда не найдёт.

Третье: слезать сам не слезает. Нужен другой носитель. Или — по словам матери Зинаиды — резко выпрямиться и удержаться.

Четвёртое: боится тех, кто не смотрит вниз.

Марфа думала об этом четвёртом пункте. Боится. Не берёт — это понятно. Но боится ли? И что это значит — боится.

Она перебирала всё это, пока кормила коз, пока полола грядку с морковью, пока вешала выстиранное на верёвку. К вечеру у неё была мысль, которую она сама не знала, как назвать. Не план — просто мысль. Что если его можно не передать другому носителю, а просто — убрать. Не через человека, а через что-то другое.

Лишить опоры. Так Зинаидина мать говорила — он теряет опору, если выпрямиться. Значит, ему нужна опора. Шея, затылок — это его точка. Что если убрать эту точку физически.

Мысль была дикая. Марфа покрутила её в голове, отложила.

Вечером зашла к Зинаиде.

Зинаида лежала на кровати, не раздеваясь. На вопрос — лучше или хуже — сказала: одинаково. Говорила медленно. Спросила, который час, когда Марфа сказала — восемь ве-

чера — удивилась, будто думала, что уже ночь.

— Ты ела сегодня? — спросила Марфа.

— Не хотелось.

— Надо есть.

— Знаю.

Марфа прошла на кухню, нашла хлеб, нарезала, намазала маслом. Принесла Зинаиде. Та взяла кусок, откусила, жевала медленно.

— Зина, — сказала Марфа. — Я думаю — надо что-то делать. Не просто ждать.

— Что делать.

— Я не знаю ещё. Думаю.

Зинаида дожевала кусок, отложила остальное.

— Марфа. — Голос у неё был тихий, без интонации. — Ты знаешь, что я хочу сделать? Я хочу пойти на болото и попросить кого-нибудь помочь мне что-нибудь поднять. Первого встречного. Просто чтобы это прекратилось.

Марфа молчала.

— Я не сделаю, — сказала Зинаида. — Сказала уже. Но хочу. Вот так хочу, что сижу и думаю об этом постоянно. Уже думаю — ну кто там на болоте, кто там будет, может, никого и нет, и ничего не случится.

— Там никого нет.

— Я понимаю.

— Но ты думаешь всё равно.

— Всё равно, — сказала Зинаида. Она смотрела в пото-

лок. — Он заставляет. Это не мои мысли, я понимаю, что не мои. Но они в голове, и от них не отделаешься.

Марфа встала.

— Я приду завтра с утра, — сказала она. — Ты никуда не ходи. Договорились?

— Договорились.

На следующее утро Марфа проснулась рано — в пять, раньше будильника. Лежала и слушала. Тишина, петух у Кузнецовых, далеко где-то машина на трассе.

Она встала, оделась. Взяла корзину — не для клюквы, просто для виду. Взяла палку. Нож — снова в карман.

И пошла на болото.

Не к Зинаиде сначала — на болото. Она сама не могла себе объяснить зачем. Просто надо было посмотреть. Надо было его найти снова и посмотреть — как он двигается, где стоит, что делает, когда жертвы нет. Разведка. Глупо, может быть, но Марфа не умела делать что-то, не понимая, с чем имеет дело.

Болото встретило туманом и запахом. Она прошла через изгородь, встала, огляделась.

Тихо. Осока шевелилась — чуть, ветер слабый. Где-то квакнуло, заткнулось.

Марфа пошла вглубь. Медленно, осторожно. Голову держала прямо — это теперь стало привычкой, она замечала, что и дома иногда держит шею напряжённо, как будто боится случайно наклониться.

Она дошла до своего места, где собирала клюкву. Огляделась. Никого.

Прошла дальше, туда, где видела его в первый раз, — к той кочке, к краю пятака.

Он был там.

Сидел на кочке, как в первый раз — спиной к ней, голова клонится, руки висят. Марфа остановилась метрах в двадцати.

Она смотрела на него. Он не двигался. Может, не слышал её — она шла тихо.

Она стояла и смотрела. Старалась смотреть не на кочку, а на него самого. На то, как он устроен.

Маленький. Хилый на вид — узкие плечи, тонкие руки. Но голова тяжёлая, это видно было по тому, как она тянула его вперёд, как шея держала её с усилием. Он сам был пустой — Зинаидина мать говорила это, и Марфа теперь видела что-то такое: в том, как он сидит, не было веса. Как будто внутри него не было ничего, только оболочка.

Ему нужна была чужая шея.

Он вдруг повернулся.

Резко — не так, как двигался раньше, медленно. Резко, как птица поворачивает голову. И посмотрел прямо на неё.

Марфа не двинулась.

Белёсые глаза. Рот чуть приоткрыт.

Они смотрели друг на друга. Потом он сказал — тихо, как всегда, но что-то в голосе было другое. Не просительное:

— Ты опять пришла.

— Пришла, — сказала Марфа.

— Наклонись.

— Нет.

Он смотрел на неё. Потом медленно встал с кочки. Марфа не ожидала этого — раньше он или сидел, или стоял уже где-то в стороне, переместившись пока она не видела. А сейчас встал при ней, и она увидела, как это выглядит.

Маленький. Ростом — ей до плеча, может. Но голова при этом размером с хорошую тыкву, и когда он стоял, она тянула его так, что он сутулился под углом. Руки доставали до колен. Ноги голые, тёмные, пальцы длинные, скрюченные.

Он сделал шаг к ней.

Марфа не отступила. Подняла палку — не замахнулась, просто подняла, чтобы между ними что-то было.

Он остановился.

Смотрел на палку. Потом на неё.

— Ты не боишься, — сказал он. Не спрашивал — констатировал. И в этом было что-то удивлённое, хотя лицо не выражало ничего.

— Боюсь, — сказала Марфа. — Но не наклонюсь.

Он молчал.

— Ты соседке моей сел на шею, — сказала Марфа. — Знайде.

Он не ответил.

— Слезь с неё.

— Нет, — сказал он просто.

— Она тебе ничего не сделала.

— Наклонилась.

Марфа смотрела на него. На это маленькое, тяжёлоголовое существо, которое стояло перед ней на мху и говорило «наклонилась» как будто это объясняло всё.

— Ты с неё слезешь, — сказала она. — Я ещё не знаю как. Но слезешь.

Он посмотрел на неё своими белёсыми глазами. Потом медленно повернулся и пошёл — не к ней, мимо, куда-то в сторону ёлок. Шёл странно, с трудом удерживая равновесие под тяжестью головы, переваливаясь.

Марфа смотрела ему вслед.

У ёлок он исчез. Просто перестал быть — не ушёл за деревья, а вот был и вот нет.

Марфа опустила палку. Выдохнула.

Стояла на болоте, в тишине, в запахе торфа. Руки не дрожали на этот раз.

Она развернулась и пошла обратно.

К Зинаиде она пришла в восемь. Постучала, подождала. Зинаида открыла — уже одетая, стояла в дверях, держась за косяк.

— Как ты? — спросила Марфа.

— Хожу, — сказала Зинаида. Голос чуть живее, чем вчера. — Ночью спала немного. Голова всё равно болит, но... терпимо.

— Хорошо. Завтрак ела?

— Нет ещё.

— Поешь.

Марфа прошла в дом, пока Зинаида варила яйца, сидела за столом и думала. Думала о том, что видела на болоте. О том, как он встал. О том, что сказал: наклонилась.

Как будто это было правилом. Договором. Наклонилась — значит, честно.

Марфа не верила в честность таких договоров. Но что-то в этом было важным. Он работал через правила. Через условие. Условие было конкретным: шея должна оказаться открытой. Значит, есть и что-то конкретное с другой стороны.

Зинаида поставила перед ней кружку чая, села напротив с яйцом и хлебом.

— Я была на болоте сегодня, — сказала Марфа.

Зинаида уронила ложку. Подняла, посмотрела на Марфу.

— Зачем?

— Смотрела.

— Видела его?

— Видела.

— И?

— Разговаривала.

Зинаида смотрела на неё.

— Марфа. Ты что, с ума сошла?

— Нет. Я его не боюсь, пока не нагибаюсь. Он мне ничего не сделает, если я прямо стою.

— Это ты так думаешь.

— Может. Но сегодня — ничего не сделал.

Зинаида помолчала. Потом сказала:

— И что ты ему сказала?

— Сказала, что он слезет с тебя. Что я придумаю как.

— Придумала?

Марфа отпила чай.

— Думаю.

День был тяжёлый. Марфа чувствовала это — не физически, а как-то иначе. Как давление. Как будто воздух стал плотнее. Она делала дела, но всё время ловила себя на том, что смотрит на пол. Опускала взгляд — и замечала это, и поднимала снова. Раздражало.

В полдень она пошла в дом Пелагеи Никитичны.

Пелагея Никитична была старейшей жительницей Харино — восемьдесят девять лет, почти не выходила из дому, но голова работала ясно. Знала всех, помнила всё. Её мать была знахаркой, и кое-что от матери к Пелагее перешло — не знание, скорее ощущение вещей. Марфа иногда приходила к ней просто поговорить, и разговоры эти были не пустыми.

Пелагея сидела у окна в своём обычном месте — кресло, подушка под спиной, на коленях кот Тимоха, рыжий, ленивый. Услышала Марфу, обернулась.

— А, Марфа. Заходи.

Марфа зашла, поставила на стол то, что принесла — банку варенья, хлеб. Пелагея посмотрела, кивнула. Кот открыл

один глаз на Марфу и закрыл снова.

— Чего пришла? — спросила Пелагея. Она всегда спрашивала прямо, без обиняков. Не грубо — просто прямо.

— Спросить хочу, — сказала Марфа. — Про болотного. Пелагея смотрела на неё спокойно. Помолчала.

— Видела его?

— Видела. Несколько раз.

— Не наклонялась?

— Нет.

— Правильно. — Пелагея погладила кота. — А зачем пришла тогда?

— Зинаида наклонилась.

Пелагея закрыла глаза. Ненадолго, секунды на три. Потом открыла.

— Давно?

— Позавчера.

— Болит?

— Сильно.

Пелагея молчала. За окном воробьи возились в палисаднике, шумно, дерзко.

— Пелагея Никитична, — сказала Марфа. — Вы знаете что-нибудь про него? Как убраться?

— Передать.

— Зинаида не будет передавать.

— Тогда терпеть.

— Долго?

— Пока не передаст. Или пока сил хватит. Некоторые месяцами носят.

— Месяцами.

— Да. Потом передают. Все передают в итоге. Боль своё делает.

Марфа сидела, смотрела в пол — поймала себя, подняла взгляд.

— Другого способа нет?

Пелагея долго молчала. Тимоха заурчал, повернулся на боку.

— Мать моя говорила, — сказала Пелагея наконец, — что его можно снять. Но только если убрать то, на чём он держится. Он сидит на шее — на затылке, на позвонках. Если позвонков нет...

— Нет?

— Она имела в виду другое. Если шею перевязать так, чтобы он не мог сжать — плотно, жёстко, чтобы не было мягкого места. Он ищет живую плоть, тепло, пульс. Если между ним и шейей твёрдое — он не удержится. Соскользнёт.

— Что значит твёрдое?

— Дерево, — сказала Пелагея. — Мать говорила — берёза. Берёзовая кора плотная, прохладная, без пульса. Намотать на шею — плотно, от затылка до плеч. Тогда ему не за что держаться.

Марфа смотрела на старуху.

— И он слезет?

— Мать так говорила. Я не пробовала. — Пелагея помолчала. — Это больно будет. Очень. Если он на шее — он будет жать сильнее, когда почувствует, что теряет. Выдержать надо.

— Зинаида выдержит.

— Может, да. Может, нет. Не знаю я, Марфа. Это всё — что мать говорила. Сама не видела, не делала.

Марфа встала.

— Спасибо, Пелагея Никитична.

— Погоди. — Старуха подняла руку. — Ты сама-то как? Он тебя не задел?

— Нет.

— Точно?

— Точно. Я не нагибалась.

Пелагея смотрела на неё — долго, как будто проверяла. Потом кивнула.

— Осторожнее будь. Он ждёт. У него времени нет — он всё время ждёт. Ты можешь устать держать голову прямо.

— Не устану, — сказала Марфа.

Пелагея не ответила. Только смотрела ей вслед, пока Марфа не вышла за дверь.

Берёзу она нашла быстро — молодую, на краю поля, с хорошей гладкой корой. Срезала несколько длинных полос ножом — охотничий брал нормально, кора шла ровными лентами, белёсыми, прохладными на ощупь. Марфа сложила их, завернула в тряпку.

Пошла к Зинаиде.

Зинаида открыла дверь, увидела тряпку в руках Марфы.

— Что это?

— Берёзовая кора. Пелагея Никитична сказала — надо на шею намотать. Плотно.

Зинаида смотрела на тряпку.

— И что?

— Говорит — он потеряет опору. Слезет.

— Это точно?

— Нет. Но другого пока нет.

Зинаида помолчала. Потом отступила, пропуская Марфу в дом.

— Будет больно?

— Скорее всего, — сказала Марфа. — Пелагея говорит — да.

— Ладно, — сказала Зинаида. Голос ровный, усталый. — Давай.

Глава 3

Зинаида села на табурет посреди кухни. Спина прямая — она старалась, Марфа видела это усилие — но плечи всё равно тянулись вперёд, голова клонилась. Как груз на верёвке, который тянет вниз постоянно, не давая передышки.

Марфа развернула тряпку. Кора лежала полосами — белая, с тёмными чёрточками, прохладная. Она взяла первую полосу, подошла к Зинаиде.

— Держись прямо, насколько можешь.

— Стараюсь.

— Я буду мотать от затылка вниз. До плеч. Если больно станет — скажи.

— Хорошо.

Марфа приложила первую полосу к основанию шеи сзади. Кора была жёсткой, чуть шершавой с внутренней стороны, прохладной — как приложить к коже что-то из леса, что никогда не нагревается. Она начала наматывать — вокруг шеи, поверх, снова. Зинаида сидела тихо.

На третьем витке Зинаида вздрогнула.

— Что? — спросила Марфа.

— Что-то... — Зинаида помолчала. — Как будто дёрнуло.

Внутри.

— Терпи.

— Терплю.

Марфа продолжала. Кора ложилась плотно, перекрывая друг друга. Шея Зинаиды постепенно скрывалась под белёсыми слоями — от затылка, вниз к ключицам. Марфа мотала туго, но не так чтобы перехватить дыхание. Проверяла пальцем — должно быть плотно, но воздух должен идти.

— Как?

— Терпимо, — сказала Зинаида. — Пока.

На пятом витке Зинаида сказала:

— Марфа.

— Что.

— Больно стало. Не от коры — внутри. Затылок.

— Он чувствует. Пелагея говорила — будет давить сильнее.

— Насколько сильнее?

— Не знаю.

Зинаида помолчала. Потом сказала — тихо, сквозь зубы:

— Давай.

Марфа мотала дальше. Кора кончалась — она взяла вторую полосу, прижала к первой, продолжила. Зинаида держалась прямо, хотя видно было, чего это ей стоит — пальцы вцепились в края табурета, костяшки белые.

Потом Зинаида вдруг согнулась.

Резко, как будто её ударили сзади по шее. Голова упала вперёд, она ухватилась за стол, табурет скрипнул.

— Зина!

— Стой. — Голос сдавленный, из-под свисающих волос.

— Стой, не убирай. Терплю.

— Ты можешь дышать?

— Да. Это не кора. Это он.

Марфа стояла над ней, держала ещё непримотанный конец коры. Смотрела на Зинаиду — на согнутую спину, на руки, вцепившиеся в стол.

— Разогнись, — сказала Марфа.

— Не могу.

— Попробуй.

— Марфа, я не могу, говорю тебе.

— Попробуй. Через боль. Пелагея говорила — через боль

выпрямиться и держать.

— Легко говорить.

— Я знаю. Попробуй.

Зинаида молчала. Потом — медленно, как будто поднимала что-то неподъёмное — начала разгибаться. Плечи поднялись. Голова пошла вверх. Она скрипела зубами — Марфа слышала этот звук, сухой, напряжённый.

Наполовину выпрямилась — и снова согнулась. Резче, чем в первый раз. Стол скрипнул от её хватки.

— Всё, — сказала Зинаида. — Не могу. Темнеет.

Марфа помолчала секунду. Потом дотянулась и стала доминировать кору — быстро, плотно, до конца. Зинаида не мешала, сидела согнувшись и тяжело дышала.

Марфа закончила, закрепила конец — подвернула под предыдущий виток. Шея Зинаиды была полностью закрыта корой, от затылка до основания, белёсая, неживая на вид.

Они ждали.

Тишина на кухне. Тиканье часов на стене. Где-то во дворе — ветер в листьях.

Ничего не происходило.

Зинаида сидела согнувшись, держась за стол. Через минуту подняла голову — медленно, с усилием.

— Болит, — сказала она. — Так же.

— Подожди.

— Я жду. Болит так же.

Марфа смотрела на кору на её шее. На белые полосы,

плотно намотанные. Всё правильно сделано. Пелагея сказала — берёза, плотно, от затылка до плеч. Всё так.

Но ничего не происходило.

Прошло ещё пять минут. Зинаида сидела. Голова поднялась немного — не полностью, но чуть выше, чем была. Марфа подумала: может, действует. Может, медленно.

Потом Зинаида сказала:

— Чешется.

— Кора?

— Нет. Под корой. Там, где он сидит. Чешется и жжёт.

— Это хорошо, может быть.

— Может быть, — сказала Зинаида без интонации.

Они ждали ещё. Прошло, наверное, полчаса. Марфа сидела напротив, смотрела на Зинаиду. Зинаида то поднимала голову немного, то снова опускала. Кора никуда не делась. Боль никуда не делась — это было видно по лицу Зинаиды, по тому, как она сидела.

— Не работает, — сказала Зинаида наконец.

Марфа не ответила сразу.

— Может, нужно больше времени.

— Марфа. Не работает.

Марфа встала, подошла, тронула кору. Плотная, холодная. Правильно намотана.

— Пелагея говорила...

— Пелагея говорила то, что её мать говорила. Которая тоже не проверяла.

Марфа молчала.

— Сними, — сказала Зинаида. — Неудобно. Дышать тяжело немного.

— Подожди ещё.

— Марфа.

— Ещё немного. Пожалуйста.

Зинаида вздохнула. Осталась сидеть.

Прошло ещё двадцать минут. Потом Марфа молча начала разматывать кору. Аккуратно, полосу за полосой. Открылась шея Зинаиды — красная от давления, с белыми полосами от краёв коры.

Зинаида осторожно повернула голову влево, вправо.

— Больно, — сказала она. — Как было.

Марфа сидела с корой в руках. Смотрела на неё.

Ничего не вышло. Пелагея, мать Пелагеи, берёза, правила — ничего.

Она ушла от Зинаиды в полдень. На улице было ветрено, тучи шли с севера — к вечеру дождь, наверное. Марфа шла домой и думала.

Кора не сработала. Значит, либо Пелагеина мать ошибалась, либо что-то сделано не так. Либо — Марфа остановилась у своей калитки — либо это вообще не работает на того, кто уже взял. Может, берёза работает как защита — до. Не снять, а не дать сесть.

Тогда — что снимает?

Она зашла в дом. Поставила чайник. Стояла у плиты и

думала.

Пелагея сказала: он ищет тепло, пульс, живую плоть. Кора холодная — не взяла. Значит, холод работает как барьер, но уже засевшего — не сгонит. Ему уже не нужно искать, он уже нашёл.

Тогда что?

Сила не поможет — это Марфа понимала. Его нельзя сорвать руками, нельзя ударить. Он часть веса теперь. Зинаида мать говорила — он становится частью твоего веса. Это значит, что он встроился. Его не выдрать снаружи.

Изнутри?

Марфа налила чай, села. Смотрела в окно.

Он пустой. Это она помнила. Оболочка без веса — ему нужна чужая шея, потому что внутри нечего. Он присасывается к чужой жизни, чужому теплу, чужому пульсу. Паразит.

Паразита убивают не снаружи — паразита делают ненужным. Убирают то, на чём он держится. Шею не уберёшь. Но можно убрать то, за чем он пришёл — тепло, пульс, живое.

Марфа поставила кружку.

Она не знала, правильно ли думает. Но другого у неё не было.

Вечером она снова пошла к Пелагее.

Пелагея была на том же месте — у окна, с котом. Увидела Марфу, ничего не сказала, только кивнула.

Марфа села.

— Кора не помогла, — сказала она.

— Жалко, — сказала Пелагея.

— Я думаю вот о чём. Он пустой. Ищет тепло и пульс. Что если убрать это — охладить. Не кору снаружи, а саму шею. Холодом.

Пелагея молчала. Кот перебрался с колен на подоконник.

— Лёд? — спросила Пелагея.

— Или холодная вода. Сильно, долго. Чтобы кровь отошла, тепла не было.

— Это опасно.

— Может быть.

Пелагея думала.

— Мать не говорила про холод, — сказала она наконец.

— Но она говорила про воду. Что он не любит проточную воду. Стоячее болото — его, а проточная — нет.

Марфа смотрела на неё.

— Проточная. Живая вода.

— Мать так говорила. Родник или река — не болото.

— У нас нет реки близко.

— Ручей есть. За полем, к западу. Помнишь, где?

Марфа помнила. Небольшой ручей, в ольшанике, метрах в семистах от деревни. Она давно там не была, но помнила — чистый, холодный, со дна бьёт, ключевой.

— Что с ним делать?

— Не знаю, Марфа. Мать говорила — он не любит. Может, голову окунуть, может, просто рядом встать. Я не знаю. — Пелагея помолчала. — Ты сама думаешь.

— Думаю.

— Осторожнее думай. Он чувствует, когда его гонят. Зинаида на боль усилится, если ты будешь делать что-то, что ему не нравится.

— Она и так не слабеет.

— Это правда.

Марфа встала.

— Завтра попробую.

— погоди. — Пелагея взяла её за руку — неожиданно, цепко. Рука была сухая, тёплая, сильная. — Ты сама осторожнее. Ты ему нравишься.

— Что?

— Он приходит к тебе на болото. Ты говоришь — каждый раз. Нормальный человек увидит его один раз и обойдёт. А он к тебе возвращается. — Пелагея смотрела на неё. — Ты ему интересна. Ты не наклоняешься, ты не боишься — это для него странно. Необычно. Он привыкает к таким.

— Привыкает?

— Начинает следить. Ждать другого момента. Не корзину просить — другое придумает. Что-то, что заставит тебя нагнуться.

Марфа смотрела на старуху.

— Что именно?

— Не знаю. Но он придумает. Они умеют. — Пелагея отпустила её руку. — Иди. И смотри.

Ночью Марфа не спала почти.

Лежала и думала про ручей. Про проточную воду. Про то, что Пелагея сказала — он ей интересна.

Это было неприятное слово. Интересна. Как будто между ней и этой тварью было что-то личное, что-то, что она не замечала.

Она прокрутила в голове все встречи. Первый раз — корзинка. Второй раз — у ёлок, молча смотрел. Потом каждый день на болоте — одно и то же, корзинка, спина, нагнись. Потом разговор, когда она пришла сама — он встал при ней, смотрел на палку. Удивился.

Ты не боишься.

Боюсь. Но не наклонюсь.

Она думала: что если Пелагея права? Что если он выжидает? Что если он сделает что-то с Зинаидой — сделает ей больнее, или Зинаида не выдержит и пойдёт на болото сама, и попросит первого встречного — и тогда Марфа побежит за Зинаидой, и будет торопиться, и оступится, или просто наклонится за чем-нибудь по дороге.

Марфа открыла глаза. Смотрела в потолок.

Нет. Она не оступится.

Но мысль осталась.

Утром — пасмурно, сыро, дождь ночью прошёл и земля была мокрой. Марфа оделась плотнее, взяла резиновые сапоги. Пошла к Зинаиде.

Зинаида открыла дверь — и Марфа сразу увидела, что хуже. Не просто хуже — значительно. Зинаида стояла, держась

за дверной косяк обеими руками, голова опущена почти к груди. Лицо серое, губы бледные.

— Зина.

— Заходи, — сказала Зинаида. Голос почти без звука.

Марфа вошла. Зинаида с трудом добрела до кухни, опустилась на табурет.

— Ночью совсем не спала, — сказала она. — Хуже стало. Намного. Голова — как будто внутри что-то давит. Не снаружи, а изнутри. Я боюсь.

— Слышишь что-нибудь?

— Что?

— Голоса. Или — ищешь что-то?

Зинаида помолчала.

— Ищу. Ночью всё время ходила по дому, смотрела. Понимала, что это бессмысленно — а всё равно ходила и смотрела под кровать, под стол.

— Что искала?

— Не знаю. Что-то. Потерянное. — Зинаида закрыла глаза. — Марфа, я не могу так долго. Скоро пойду на болото и попрошу кого угодно нагнуться. Скоро.

— Не пойдёшь.

— Откуда ты знаешь.

— Потому что там никого нет, кроме него.

Зинаида открыла глаза. Смотрела на Марфу.

— Он тоже годится.

Марфа замолчала. Это было новое — что она хочет пере-

дать его обратно ему самому. Глупость, конечно. Но в этом была какая-то логика отчаяния, которую Марфа понимала.

— Зина, — сказала она. — Сегодня попробуем ручей. Помнишь ручей в ольшанике?

— Помню.

— Пелагея говорит — проточная вода. Он не любит проточную. Попробуем.

— Что делать с ручьём?

— Не знаю точно. Может, голову опустить. Может, просто встать в воду.

Зинаида смотрела на неё долго.

— Сегодня, — сказала она. — Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

Они шли через поле. Медленно — Зинаида шла плохо, каждые несколько минут останавливалась, стояла, держась за Марфу. Марфа шла рядом, держала её за локоть. Земля была мокрой после ночного дождя, сапоги чавкали.

Молчали почти всё время. Говорить было не о чем — всё сказано, и лишних слов не хотелось.

Ольшанник начинался за кустами — тёмный, сырой, ольха росла плотно, ветки смыкались над головой, капли с листьев летели на плечи. Здесь пахло иначе, чем на болоте — не торфом, а прелью, глиной, холодной водой.

Ручей нашли быстро. Он был узкий — перешагнуть можно — но глубокий, наверное по колено, и вода в нём была прозрачная, с чуть зеленоватым оттенком от водорослей на

камнях. Бежал быстро, журчал.

Марфа остановилась на берегу.

— Вот. Проточная.

Зинаида стояла рядом. Смотрела на воду.

— И что?

— Заходи. В воду.

— Холодная.

— Я знаю.

Зинаида помолчала. Потом начала снимать сапог. Марфа держала её за плечо, пока та балансировала на одной ноге. Второй сапог. Носки.

Зинаида осторожно зашла в ручей. Охнула — вода была ледяная, ключевая, с такой не привыкаешь. Стояла по щиколотку, потом присела — глубже, по колено.

— Голову, — сказала Марфа.

— Что?

— Голову в воду опусти. Затылок.

Зинаида посмотрела на неё. Потом на воду. Потом — медленно, придерживаясь руками о дно — начала наклоняться.

Марфа стояла на берегу и смотрела.

Зинаида опустила затылок в воду. Вода поднялась ей до ушей, волосы разошлись в стороны. Лицо осталось над поверхностью — запрокинутое, бледное.

Прошло несколько секунд.

Потом Зинаида вскрикнула.

Не громко — скорее выдохнула, резко, со звуком. Руки её,

которыми она держалась о дно, соскользнули, она дёрнулась — Марфа успела схватить её за плечо, не дала упасть вперёд.

— Зина!

— Больно! — Зинаида выпрямилась, рванулась из воды — Марфа помогла, вытащила её на берег. Зинаида сидела на траве, мокрая, тяжело дышала. Волосы облепили лицо. — Больно как...

— Он давил?

— Да. Как будто голову сжали. Внутри черепа. Я думала — лопнет.

Марфа смотрела на неё. На мокрые волосы, на бледное лицо, на трясущиеся руки.

— Но он не слез.

— Нет, — сказала Зинаида. — Нет. Больно было — и всё.

Марфа стояла над ней.

Ручей журчал. Оляха капала. Где-то высоко, за облаками — кричала птица, далеко, не разобрать какая.

Не сработало снова.

Марфа смотрела на воду. Думала.

Он не любит проточную воду — так сказала Пелагея. Но это не значит, что вода его убивает. Не любит — это значит, ему некомфортно. Неприятно. Он давит сильнее, как давил с корой — но не уходит.

Тогда что?

Марфа подумала про то, что сказала Пелагея ночью. Про то, что он ей интересен. Что она ему интересна.

Она смотрела на воду и думала.

Он пустой. Ему нужна живая шея, тепло, пульс. Зинаида — это то, что он взял. Но Зинаида с каждым днём слабее. Значит — что? Значит, ему нужна другая. Свежая.

Он всегда искал свежую.

Марфа думала это и параллельно думала кое-что ещё. Что-то холодное и отдельное, как посторонняя мысль.

Что если использовать это.

Что если дать ему то, что он хочет — не Зинаиду, а кого-то другого. Свежего. Прямую шею, не согнутую. Тёплую. С пульсом.

Зинаида подняла голову. Смотрела на Марфу снизу вверх, мокрая, со слипшимися волосами.

— Марфа. Что ты думаешь?

Марфа не ответила сразу.

Что-то в ней медленно складывалось в форму.

Не план. Ещё не план. Но что-то.

— Думаю, — сказала она. — Обувайся. Пойдём домой.

Они вернулись в деревню. Зинаида дошла до своего двора, Марфа проводила её до крыльца. Зинаида была совсем плохая — мокрая, белая, держалась за Марфину руку почти всю дорогу.

— Ложись, — сказала Марфа. — Я вечером приду.

— Хорошо.

— И никуда не ходи.

— Марфа, — сказала Зинаида. — Я сегодня ночью, на-

верное, пойду. Всё равно пойду. Не могу больше.

— Куда?

— На болото. Или ещё куда. Неважно. Найду кого-нибудь. Первого встречного.

— Зина.

— Я понимаю. Я знаю, что не надо. Но ночью — ночью мне всё равно. Понимаешь? Ночью мне на всё наплевать, только бы это прекратилось.

Марфа смотрела на неё.

— Ночью не ходи, — сказала она. — Слышишь? Я разберусь. Сегодня.

— Сегодня?

— Сегодня.

Зинаида смотрела на неё. В глазах было что-то — не надежда, не доверие. Просто усталость, которая позволяла согласиться.

— Хорошо, — сказала она.

Марфа подождала, пока та зашла в дом. Услышала, как закрылась дверь. Постояла.

Потом пошла домой.

Дома она выпила воды, сидела за столом. Думала.

У неё было несколько часов.

Она думала о том, что знала про него. Пустой. Ищет живое. Тянется к тем, кто не смотрит вниз — потому что это странно, потому что большинство смотрит. Он охотник, а охотник замечает то, что выбивается из правила.

Она выбивалась.

Значит — он будет там, где она. Будет следить. Ждать.

Это можно использовать.

Марфа встала. Прошла по кухне. Остановилась у окна.

Нельзя позволить ему прыгнуть. Нельзя наклониться. Это правило первое и главное, и оно не меняется.

Но что если дать ему возможность попробовать — и в этот момент сделать что-то с ним самим.

Что можно сделать с тем, кто собирается прыгнуть.

Пелагея сказала: если выпрямиться резко и держать — он теряет опору. Слетает. Больно, но возможно. Зинаида не смогла — боль уже слишком большая, слишком вкусился. Но свежий захват — первые секунды — может быть, тогда?

Марфа думала.

Нет. Это слишком рискованно. Даже первые секунды — он уже на шее, уже давит, и боль приходит сразу. Она это знала по тому, что рассказывала Зинаида. Голова как обухом. Тёмные в глазах. Сразу.

Значит — нельзя позволить ему прыгнуть. Значит — нужно сделать что-то до.

До того, как он прыгнул.

Марфа сидела и смотрела в стол. В трещину на деревянной столешнице, давнюю, с тех пор как они с мужем переехали в этот дом, сорок три года назад.

Он пустой. Он оболочка.

Что убивает оболочку?

Что убивает то, что не имеет веса внутри?

Марфа не знала. У неё не было ответа на этот вопрос. Она была простая деревенская баба семидесяти двух лет, с большой поясницей и двумя козами. Она не знала, как убивают болотных тварей. Этому нигде не учили.

Но нож у неё был.

И он был маленький. Хилый. Руки доставали до колен — значит, руки длинные, но тонкие. Тело под рваньём — узкое, почти детское.

Марфа взяла нож, посмотрела на лезвие.

Она не знала, можно ли его порезать. Не знала, есть ли у него кровь. Но она знала, что он двигался как живой — вставал, шёл, балансировал под тяжестью головы. Значит, у него было что-то, что двигалось.

Что держит голову — если голова тяжёлая, непропорционально тяжёлая, если шея тонкая?

Ему нужно опереться. Не на шею жертвы — на что-то своё. Пока он не прыгнул, пока он ещё сидит или стоит — его собственная шея держит голову. Тонкая, слабая шея под огромной головой.

Марфа смотрела на нож.

Она думала: если голова — это он сам, весь он, то без поддержки снизу...

Это была дикая мысль. Прямая, простая и дикая.

Она положила нож в карман.

На болото она пошла в три часа дня. Небо было облачное,

солнце за тучами, ветер. Корзину не взяла — не было смысла притворяться.

Взяла палку. Нож в кармане. И ещё — верёвку. Короткую, крепкую, метра полтора. Нашла в сарае, из тех, что для вязки дров.

Зачем верёвку — она до конца не знала. Просто взяла.

Через изгородь. Болото. Запах торфа, осока, мох под ногами.

Он появился быстро. Быстрее, чем обычно — как будто ждал именно сегодня. Стоял в двадцати шагах, у той же кочки. Смотрел на неё.

Марфа остановилась.

Они смотрели друг на друга.

Он не сказал про корзинку. Сегодня — молчал. Просто смотрел.

— Знаю, что ты ждёшь, — сказала Марфа. — Не ждёшься.

Он молчал.

— Соседка моя сегодня ночью пойдёт тебя искать, — сказала Марфа. — Если я ничего не сделаю. Ты это знаешь, наверное.

Он смотрел на неё. Рот чуть приоткрылся.

— Знаю, — сказал он.

— Значит, сегодня — либо она, либо я.

Пауза.

— Ты умная, — сказал он. Без интонации, как факт.

— Нет. Просто деваться некуда.

Она сделала шаг вперёд. Держала палку в правой руке.

Нож — в кармане, под рукой.

Он не отступил. Смотрел.

Марфа думала про одно: не наклоняться. Спина прямо.

Голова прямо. Что бы ни случилось.

Она подошла ещё ближе. Метров пять между ними.

И тут он сделал то, чего не делал раньше.

Не сказал про корзинку. Не попросил нагнуться.

Он упал.

Просто — подломились ноги, и он рухнул на мох. Медленно, как мешок, набитый чем-то нетяжёлым. Лёг лицом вниз.

Голова — огромная, неправильная — ударилась о кочку.

И лежал.

Марфа остановилась.

Смотрела на него.

Он лежал и не двигался. И что-то в ней — то самое, что всегда говорило правильные вещи, — сказала сейчас: не подходи.

Но он лежал. Не двигался. Маленький, хилый, рваньё облепило мох.

Марфа стояла и считала секунды.

Один. Два. Три.

На пятом она увидела, что его пальцы — длинные, тёмные пальцы — медленно загребают мох. Тихо, почти незаметно. Он не был без сознания. Он ждал.

Ждал, когда она наклонится над ним.

Марфа выдохнула.

— Нет, — сказала она вслух.

И не наклонилась.

Глава 4

Он лежал на мху и ждал.

Марфа стояла в пяти шагах от него и тоже ждала. Держала палку. Смотрела на его пальцы — они больше не загребали мох, замерли. Но она знала, что он не потерял сознания. Он просто ждал терпеливее, чем она.

Прошла минута. Две.

Ничего не менялось.

Марфа думала. Он лежит — и это ловушка. Самая простая ловушка, какая есть. Лечь, притвориться немощным, подождать, когда над тобой наклонятся. Он это умеет — она видела, как он сидел на кочке в первый день, как выглядел беспомощным. Это его способ.

Значит, наклоняться нельзя. Она это знала.

Но стоять и ждать тоже было не выходом. Зинаида к ночи сорвётся — это она сказала сама, и Марфа ей верила.

Марфа переступила с ноги на ногу. Мох чавкнул под сапогом.

Она думала про шею. Про то, что его шея держит эту голову. Тонкая, узкая — она видела это, когда он стоял перед ней. Голова на тонкой шее — как тыква на жёрдочке. Как

это вообще держится.

Держится потому, что ему нужна чужая. Как только найдёт — своя уже не нужна.

Марфа смотрела на него. На рваньё, облепившее мох. На длинные руки, вытянутые вдоль тела. На голову, которая лежала боком на кочке, тяжёлая, неподвижная.

Она сделала шаг в сторону — не к нему, а вбок. Обошла его по дуге, метрах в четырёх. Смотрела на него сбоку.

Он не двигался. Следил за ней — она чувствовала это, хотя не видела глаз.

Она обошла его ещё — теперь оказалась сзади него. Смотрела на затылок. На то место, где его собственная шея встречалась с основанием черепа.

Тонкая. Тоньше, чем у ребёнка.

Марфа вытащила нож из кармана.

Она не знала, будет ли от него толк. Не знала, есть ли у него кровь, есть ли у него что-то, что можно перерезать. Но она знала одно: эта голова держится на чём-то физическом. И она сейчас сзади него, и он лежит, и его шея открыта.

Единственный момент, когда она может сделать что-то — не наклонившись.

Она опустилась на одно колено. Не нагибаясь — именно на колено, держа спину прямо. Нож в руке.

Он дёрнулся.

Почувствовал — не увидел, почувствовал — что что-то изменилось. Рваньё зашевелилось, руки пришли в движение,

он начал разворачиваться.

Марфа не дала ему времени.

Она ударила ножом в шею — туда, где голова встречалась с телом. Удар был неточный — она не охотник, не мясник, рука не была набита для такого — но попала. Лезвие вошло во что-то, что было не совсем плотью и не совсем пустотой. Не мягкое, не твёрдое — что-то среднее, как мокрая глина.

Он издал звук.

Не крик — скорее выдох, резкий и влажный. Руки его взметнулись вверх, он перевернулся на бок — Марфа отпрянула, встала на ноги, отступила на шаг. Спина прямая. Голова прямо.

Он лежал на боку и дёргался. Голова моталась — тяжёлая, неуправляемая, она тянула его, перевешивала, и он не мог встать из-за неё. Его собственная голова была его тюрьмой.

Марфа смотрела.

Из места, куда вошёл нож, не было крови. Было что-то тёмное — не красное, тёмное, почти чёрное, но немного. Очень немного.

Он пытался встать. Руки упирались в мох, ноги толкались, но голова перевешивала — он заваливался снова и снова. Белёсые глаза смотрели на неё — теперь в них было что-то, чего не было раньше. Не боль. Что-то другое. Удивление, может быть. Или злость.

— Ляжешь, — сказал он. Голос изменился — стал гуще, влажнее. — Всё равно ляжешь.

Марфа не ответила.

Она смотрела на него и думала: недостаточно. Она ударила один раз, попала, но недостаточно. Он дёргается, но не уходит, не слабеет по-настоящему.

Надо ещё.

Он всё-таки встал — каким-то образом поднялся, покачиваясь, опираясь на все четыре конечности. Голова свисала вниз — уже не держалась прямо, клонилась к земле. Он смотрел на неё снизу вверх.

— Нагнись, — сказал он. Голос совсем другой теперь — хриплый, с присвистом. — Нагнись и посмотри, что ты сделала.

Марфа сделала шаг к нему. Держала нож.

Он прыгнул.

Не так, как она ожидала — не вверх, не на неё. Он прыгнул в сторону, откатился, и вдруг оказался не там, где был. Мелькнуло рваньё — и он уже стоял сбоку от неё, метрах в трёх, и смотрел. Голова моталась, он поддерживал её рукой — длинной рукой, которая теперь прижимала подбородок к плечу. Держал собственную голову рукой.

Это было странно — видеть, как он держит собственную голову. Как будто без руки она упала бы.

Марфа повернулась к нему. Не отводила взгляда.

Он смотрел на неё. Потом медленно — очень медленно — убрал руку от головы. Голова качнулась, накренилась. Он снова поднял руку, поддержал.

— Что ты сделала, — сказал он. Не вопрос. Что-то другое.

— То, что могла, — сказала Марфа.

Он молчал. Держал голову рукой. Смотрел на неё.

Потом развернулся и пошёл — в сторону болота, туда, где начиналась настоящая вода. Шёл медленно, одной рукой придерживая голову. Пошатывался.

Марфа смотрела ему вслед.

Он дошёл до края — там, где мох уходил в воду, где стояли редкие сухие стебли прошлогоднего камыша. Остановился.

Потом сел. Медленно опустился на кочку — ту самую, где она видела его в первый раз. И стал держать голову двумя руками. Молча, неподвижно.

Марфа стояла и смотрела на него.

Он не уходил. Он просто сидел — теперь по-другому, не притворяясь немощным, а действительно немощный. Держал голову. Белёсые глаза смотрели куда-то мимо неё.

Прошла минута.

Потом Марфа почувствовала — не увидела, почувствовала — что что-то изменилось. Не здесь, не рядом с ней.

В деревне.

Она не могла объяснить, как это — просто что-то изменилось в воздухе. Какое-то давление спало. Как когда долго сжимаешь кулак, а потом разжимаешь, и не сразу понимаешь, что разжал.

Зинаида.

Марфа развернулась и пошла к выходу с болота. Быстро, насколько можно. Не оглядываясь — она знала, что он сидит там, держит голову, и никуда не идёт. Пока.

Через изгородь. Поле. Деревня.

Зинаида стояла посреди своего двора.

Стояла — прямо. Голова поднята. Не держалась за забор, не держалась ни за что. Просто стояла посреди двора и смотрела на руки — как будто видела их впервые.

Услышала скрип калитки, обернулась на Марфу.

Марфа смотрела на неё.

— Зина. Как голова?

Зинаида смотрела на неё. Потом медленно подняла руку и потрогала затылок.

— Не болит, — сказала она. Голос странный — тихий, неуверенный, как будто не верит тому, что говорит. — Марфа, не болит.

— Совсем?

— Совсем. — Она снова потрогала затылок. — Только что было — и вдруг прошло. Я стояла в доме, и вдруг просто — прошло. Как будто кто-то снял что-то.

Марфа подошла к ней. Посмотрела на шею — ничего видимого. Просто шея. Зинаидина шея, ничего на ней нет.

— Ты уверена? — спросила Марфа.

— Уверена. — Зинаида вдруг выдохнула — резко, как будто только сейчас смогла. — Марфа. Ты что сделала?

— Ударила его ножом.

Зинаида смотрела на неё.

— И всё?

— Всё.

Зинаида молчала. Потом — неожиданно, без предупреждения — опустилась на скамейку у крыльца и закрыла лицо руками. Не плакала — просто сидела, закрыв лицо. Плечи поднялись, опустились.

Марфа постояла рядом. Потом тоже села — на край скамейки, чуть в стороне.

Они сидели во дворе. Солнце прошло через тучи, ненадолго — осветило огород, мокрые после ночного дождя листья картошки, поленницу у забора.

— Он жив? — спросила Зинаида из-за ладоней.

— Не знаю, — сказала Марфа. — Сидит на болоте. Голову держит рукой.

Зинаида опустила руки. Смотрела перед собой.

— Вернётся?

Марфа думала.

— Наверное, — сказала она.

Зинаида кивнула. Как будто другого ответа и не ждала.

Они помолчали ещё. Солнце снова ушло за тучи.

— Спасибо, — сказала Зинаида тихо.

Марфа не ответила. Встала.

— Поешь сегодня нормально, — сказала она. — И спи.

Ты не спала несколько дней.

— Знаю.

— Вечером приду проверю.

Она пошла к калитке. На пороге остановилась, обернулась

— Зинаида сидела на скамейке, руки на коленях, смотрела на огород. Голова прямо. Спина прямо.

Марфа вышла.

Дома она вымыла нож. Тёмное, почти чёрное — смылось под водой, ушло в раковину. Она смотрела, как уходит, и думала: что это вообще было. Была ли у него кровь. Было ли то, что она сделала — убийством. Можно ли убить то, что пустое внутри.

Она не знала.

Вытерла нож, убрала под кровать в ящик.

Поставила чайник.

Сидела за столом и ждала, пока закипит. В окне — серое небо, ветер в огороде. Обычный день в Харино. Совершенно обычный.

Только затылок. Затылок — тихо, фоновое — ныл. Не больно. Просто — ныл. Как напоминание.

Марфа потёрла шею. Подумала: давление. Или продуло. Или просто — возраст, семьдесят два года, что-то всегда ноет.

Чайник закипел. Она налила, выпила.

Затылок не переставал ныть.

Вечером она пошла к Зинаиде, как обещала. Зинаида поела — Марфа увидела тарелку в раковине. Выглядела лучше, чем утром — не серая, не белая. Просто усталая. Обычная

усталость, человеческая.

Они пили чай. Говорили немного — ни о чём особенном. О том, что скупщик приедет через неделю, что надо ещё набрать клюквы, что у Кузнецовых, кажется, захворала собака.

Марфа не говорила про затылок.

Зинаида не спрашивала.

Перед тем как уйти, Марфа спросила:

— Ты завтра на болото не пойдёшь?

— Нет, — сказала Зинаида. Твёрдо. — Никогда больше.

— Правильно.

— А ты?

Марфа надела пальто. Застегнула пуговицы.

— Мне клюква нужна, — сказала она.

Зинаида смотрела на неё.

— Марфа.

— Что.

— Не ходи.

— Зина. Мне клюква нужна.

Зинаида молчала. Потом сказала:

— Он же там ещё.

— Знаю.

— Ты сказала — он сидит и держит голову. Это не значит, что он сдался.

— Знаю.

— Тогда почему?

Марфа застегнула последнюю пуговицу. Взяла со стола

платок, повязала.

— Потому что если я не пойду — он выиграл, — сказала она.

Зинаида смотрела на неё долго. Потом отвернулась.

Марфа вышла.

Ночью затылок болел сильнее.

Не сильно — терпимо. Но больше, чем вечером. Марфа лежала на спине и прислушивалась к этой боли — пыталась понять, откуда она. Давление, возраст, нервы. Или что-то другое.

Она вставала дважды. Не потому что хотела — просто вставала, шла на кухню, стояла у окна. Смотрела на тёмный огород.

На третий раз, когда поймала себя на том, что смотрит под ноги — ищет что-то на полу — она остановилась. Стояла посреди кухни и смотрела на свои руки.

Что она ищет.

Она не знала.

Просто что-то. Потерянное.

Марфа подняла голову. Посмотрела прямо перед собой — в стену, в тёмное окно, в потолок. Взяла себя за шею — пальцами, прощупала. Ничего. Просто шея, тёплая, с пульсом под пальцами.

Ничего нет, сказала она себе.

Ничего нет.

Вернулась в кровать. Легла. Закрыла глаза.

Затылок ныл.

Утром она пошла на болото.

Вышла в шесть, как всегда. Корзина, палка. Нож в кармане — тот же, охотничий. Туман лежал низко, осока мокрая от росы, запах торфа.

Всё как обычно.

Она шла через поле и думала: ничего нет. Просто давление. Просто возраст. Затылок ноет у всех, кому за семьдесят.

Через изгородь. Под ногами мягко, пружинисто.

Клюкву нашла на своём месте. Присела, начала собирать. Пальцы знали работу. Ягоды падали в корзину — шорох, монотонный, привычный.

Голову держала прямо.

Прошёл час. Корзина тяжелела.

Он появился, когда она дошла до края пятака. Сидел на кочке — той самой. Но по-другому теперь. Раньше голова просто клонилась вперёд под своим весом — теперь он держал её рукой. Правой рукой, прижав ладонь к боку головы, чуть придерживал. Без руки она, видимо, заваливалась.

Он смотрел на неё.

Марфа остановилась.

Смотрела на него.

Он выглядел хуже, чем вчера. Рваньё потемнело — мокрое, облепило его ещё плотнее. На том месте, куда она ударила ножом — у основания шеи сзади — что-то тёмное засохло, твёрдое.

Но он был здесь.

— Пришла, — сказал он. Голос изменился — тише, суше.

Как будто что-то в нём надорвалось.

— Пришла, — сказала Марфа.

— За клюквой.

— За клюквой.

Он смотрел на неё. Рука не отпускала голову.

— Ты умеешь ходить прямо, — сказал он.

— Умею.

— Долго умеешь.

— Посмотрим.

Они смотрели друг на друга. Ветер прошёл по осоке — сухой шорох, как чужое дыхание.

— Ночью вставала, — сказал он.

Марфа молчала.

— Смотрела под ноги.

— Я заметила, — сказала Марфа.

— Значит, знаешь.

— Знаю что?

Он молчал. Голова качнулась — он поддержал её. Белёсые глаза смотрели на неё без выражения.

— Ты меня ударила, — сказал он наконец. — Но не убила.

— Вижу.

— Я пустой. Меня не убивают ножом.

— Тоже вижу.

— Тогда что ты думаешь делать?

Марфа опустила корзину на мох. Взяла палку двумя руками.

— Ты мне ночью что-то сделал, — сказала она. — Пока я спала.

Он молчал.

— Затылок болит, — сказала Марфа. — Встаю ночью. Ищу что-то.

Он смотрел на неё.

— Я не наклонялась, — сказала Марфа. — Ни разу. Как ты это сделал.

Долгое молчание. Только ветер в осоке.

— Ты злая, — сказал он тихо.

— Нет. Я просто спрашиваю.

— Ты не спала много ночей, пока думала про соседку. Голова устала. Я подождал, пока устанет.

Марфа стояла и слушала его. Внутри что-то холодело — не страх, а понимание. Медленное, как вода, заполняющая яму.

— Ты не прыгал, — сказала она. — Ты просто ждал, пока я сама согнусь.

Он не ответил. Но в молчании был ответ.

Марфа смотрела на него. На руку, которая держала голову. На тёмное пятно у основания шеи.

— Сколько, — сказала она. — Сколько я уже ношу.

— Вторые сутки, — сказал он. — Почти.

Марфа стояла и держала это слово. Вторые сутки. Она не

наклонялась. Она не давала ему условие — открытую шею. Но пока она думала про Зинаиду, пока не спала, пока стояла ночью на кухне и смотрела под ноги — он просто сел. Тихо. Без прыжка. Потому что она сама согнулась внутри.

— Не болит, — сказала она вслух. — Почти не болит. Только ноет.

— Ты сильная, — сказал он. — Таким поначалу почти не болит.

— А потом?

Он молчал.

Марфа подняла руку, потрогала затылок. Ничего там не было — никакого веса, никакого существа. Только ноющее место, размером с ладонь, чуть выше шеи.

— Слезь, — сказала она.

— Нет.

— Я тебя ударила один раз, — сказала Марфа. — Ударю снова.

— Ты не можешь ударить то, чего не видишь сзади, — сказал он. — Ты не знаешь, где я.

Это было правдой.

Марфа стояла посреди болота и понимала, что он прав. Пока он был перед ней — она могла что-то сделать. Но теперь он был где-то за ней, на затылке, которого она не видела. Нож не поможет — не попасть, не дотянуться так, как нужно.

Она смотрела на кочку, где он сидел.

Кочка была пустая.

Когда он успел — она не поняла. Просто говорила с ним, смотрела на него — и он исчез с кочки. Пока она смотрела прямо на него.

Марфа медленно выдохнула.

Затылок ныл.

Она стояла посреди болота, с корзиной и палкой, и думала: вот и всё. Вот и весь её план, весь её прямой позвоночник и непреклонный взгляд. Две недели она держала голову прямо — и он просто подождал, пока она устанет думать.

Пелагея говорила: он ждёт. У него времени нет — он всё время ждёт.

Марфа подняла корзину.

Пошла к выходу с болота.

Не быстро, не медленно. Ровным шагом. Спина прямо — привычка уже, тело само держало. Голова прямо.

Затылок ныл.

Она шла и думала: что теперь. Зинаида свободна. Зинаида выпитая, поест, встанет завтра и будет жить как раньше. Клюква у неё в корзине — килограмма три, хороший сбор. Скупщик приедет через неделю.

Всё это было правдой.

И затылок ныл — тихо, постоянно, как фоновый шум.

Через изгородь. Поле. Трава под ногами твёрдая, нормальная.

Марфа шла домой и думала: выпрямиться резко. Зинаи-

дина мать говорила — через боль выпрямиться и держать. Зинаида не смогла — боль была уже сильная, он уже вкусился глубоко.

Но у неё — вторые сутки. Почти.

Может, ещё не поздно.

Она шла и думала об этом. И чем дольше думала — тем больше понимала, что не попробует. Не потому что боится боли. А потому что если попробует и не получится — станет хуже. Он вкусится глубже. И тогда — через неделю, через месяц — она пойдёт на болото и попросит кого-нибудь нагнуться.

Зинаиду.

Марфа остановилась посреди поля.

Стояла и смотрела на деревню впереди. Дымок из одной трубы — кто-то топил уже, хотя не холодно ещё. Ворона на крыше у Кузнецовых.

Затылок ныл.

Она думала: что если не пытаться сбросить. Что если просто — жить с этим. Держать спину прямо. Не смотреть под ноги. Не давать боли вырасти до той отметки, когда уже всё равно.

Может, можно так. Может, если всё время держаться — он так и останется тихим, фоновым, еле слышным.

Может.

Марфа потёрла затылок. Перехватила корзину в другую руку.

Пошла дальше.

Деревня. Калитка. Двор.

Козы требовали корму — орали из загона, как всегда. Куры разошлись по двору. Всё на месте, всё обычно.

Она поставила корзину в сени. Разулась. Прошла на кухню.

Налила воды. Выпила.

Не садилась — стояла у окна, смотрела на огород. День шёл своим ходом. Солнце немного, ветер, запах земли через открытую форточку.

Затылок ныл.

Тихо. Как будто кто-то прижал большой палец к основанию черепа и держит. Без давления почти — просто держит. Напоминает.

Марфа стояла у окна и держала кружку.

Думала: завтра надо опять на болото. Клюквы ещё полно — то место, куда она не успела дойти сегодня. Скупщик через неделю. Деньги нужны.

Она пойдёт.

Будет держать спину прямо. Голову прямо. Не смотреть под ноги без нужды.

И затылок будет ныть.

И она будет об этом знать.

И ничего не изменится.

Марфа поставила кружку на стол. Пошла кормить коз.

Полевик. Смертельный полдень

Жара в тот день не поднималась с земли — она уже стояла. С шести утра солнце легло на поле тяжёлым, непрозрачным пластом, и к полудню воздух перестал быть воздухом, превратившись в вязкую, раскалённую массу, которую приходилось проталкивать через ноздри, как горячий песок. Максим вышел за калитку в одиннадцать сорока. Кроссовки уже прилипали к раскалённой дорожке. Футболка из хлопка, ещё сырая от утренней стирки, высохла на спине за первые десять метров, ткань прилипла к лопаткам, стала жёсткой, как накрахмаленная. Он шёл к покосу — триммер ждал у сарая, бензин был залит, шнур стартера висел ровно, но рука на нём остановилась. Не потому что передумал. Потому что взгляд упал за забор. Он перекинул шнур на крюк. Мотор пусть постоит, остынет. Пять минут. Просто глянуть.

За канавой начиналось поле. Оно не было засеяно лет десять, может больше. Колхозные границы давно стёрлись, межи заросли бурьяном, но земля помнила плуг. Теперь на ней стоял подсолнечник — дикий, выше двух метров, с жёсткими, почти деревянистыми стеблями, стоявшими так плотно, что между рядами едва протиснулось бы плечо. Головы тяжёлые, опушённые вниз, лепестки пожухли от солнца, края

свернулись в тёмные трубочки. Поле казалось жёлтым изда-
лека, но вблизи было цвета старой пыли, ржавчины и выцвет-
шей газеты. Под стеблями земля трескалась мелкими пла-
стинами, между ними ползали муравьи, сухие, тёмные, дело-
витые, тащили что-то невидимое. Пахло печёной землёй, су-
хой травой и чем-то сладковатым, тяжёлым — как перегре-
тая смола или старая солома на солнцепёке. Запах не уходил.
Он оседал на языке, забивал ноздри, смешивался с пылью,
которую ветер поднимал от дороги тонким, рыжим облаком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.